

ПАУТИНА ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ



ТАТЬЯНА
КОРСАКОВА

королева мистического романа

Татьяна Корсакова. Королева мистического романа

Татьяна Корсакова
Паутина чужих желаний

«ЭКСМО»

2010

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Корсакова Т. В.

Паутина чужих желаний / Т. В. Корсакова — «Эксмо»,
2010 — (Татьяна Корсакова. Королева мистического романа)

ISBN 978-5-04-199689-5

Воровать нехорошо. Но иногда бывает так трудно удержаться, когда вещь так и манит своей красотой и доступностью. Вытащив из кармана простоватой девушки странный медальон на тоненькой цепочке, Ева, сама не замечая того, глупой мухой угодила прямиком в паучьи сети. Теперь жизнь девушки принадлежит уже не ей. Тщательно плетет невидимый паук свой узор. Скоро паутина будет завершена. Времени осталось совсем немного.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-199689-5

© Корсакова Т. В., 2010
© Эксмо, 2010

Татьяна Корсакова

Паутина чужих желаний

© Корсакова Т., 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Воровать нехорошо.

Нет, это не мамины слова. Моя мама сказала бы: «Бери, Евка, все, что плохо лежит, потому что за просто так тебе никто ничего не даст». Это я сама для себя решила, что воровать нехорошо. Но уж больно безделица занятная: не пойми из какого металла цепочка, а на ней – красный камешек, тоже мне неизвестный. Безделица, наверное, – простая бижутерия, копейки стоит. Если б вещь была дорогой, разве ж стала бы эта курица щипаная ее в кармане пальто таскать! Она б ее на шею надела или на худой конец, в сумочку положила бы, а не в карман. Значит, не очень и нужна безделица-то...

Она упала прямиком в лужу, а курица и не заметила, пытаясь в зарядившей с самого утра мелкой измороси рассмотреть приближающийся автобус. Чтобы достать безделицу, мне пришлось совершить подвиг: стащить с руки перчатку, а руку сунуть в ледяную и наверняка кишашую микробами воду. Безделица обнаружилась сразу, словно меня и ждала, обернулась вокруг замерзших пальцев, приласкала неожиданным теплом. Странная вещица, у меня с детства нюх на такие, и не бижутерия (нечего совесть успокаивать) – старинная работа, изящная. Пожалуй, надо пропажу вернуть законной владелице...

Надо, да вот только не получилось: рука с цепочкой сама потянулась к шее, щелкнул крошечный замочек, кожу на груди, там, куда нырнул камешек, что-то больно царапнуло. Все, у безделицы теперь новая хозяйка!

А курица эта, Маша-растеряша, уже на всех парах летела к притормаживающему у тротуара такси. На автобусах мы, видите ли, ездить непривычны, нам такси подавай. Да что это я, в самом деле?! Я ж и сама на автобусах уже лет пять не ездила, все больше на своей машине или в крайнем случае тоже на такси. Тем более что погода мерзостная, хоть и весна на дворе. С такой весной и осень не нужна. А маршрутки все как одна катятся в ненужном направлении, и холод собачий.

Маша-растеряша вскочила в такси мгновением раньше меня, плюхнулась на заднее сиденье, с облегчением вздохнула. Ишь, какая пряткая!

– Занято, красавица! – Водила, дяденька ярко выраженной кавказской национальности, взглянув на меня, тоже вздохнул, но с явным сожалением. Дяденьке, наверное, приятнее катать по городу длинноногих брюнеток стервозной наружности, чем вот такую невзрачную особь.

– А может, нам по пути? – спросила я, усаживаясь рядом с Машей-растеряшей.

– Мне на Калинина, – сказала та с виноватой улыбкой.

– Вот и мне на Калинина!

Это ж надо какое совпадение! Я успокоилась и стала разглядывать соседку. Сдается мне, что она из тех, кто готов безропотно уступить место ближнему своему, протянуть руку помощи, подставить левую щеку, перевести бабульку через дорогу – в общем, девица из нестройных и плохо организованных рядов идиоток-идеалисток. И выглядит соответствующе: пальтишко мышино-серое, волосенки мышино-серые, глаза тоже, косметики никакой. Хотя оправка очков роскошная – серебристая и изящная, да толку с той оправы, если стекла в ней толщиной с пол моего пальца! Ох, не повезло девке, такую и обманывать как-то совестно.

В душе шевельнулась непрошенная жалость, но я задушила ее на корню. Нечего всяких жалеть! Меня никто не жалел. Не отдам безделицу, ни за что не отдам! Что упало, то пропало...

– Эй, красавица! – Водила обернулся, огладил меня взглядом маслено-черных глаз, одобрительно поцокал языком. – Может, са мной сядэш? А я с тэбя денег мала-мала возьму.

«Денег мала-мала» – это, конечно, хорошо, да вот только не люблю я ездить на переднем сиденье. Я осторожная и статистику ДТП знаю, поэтому сажусь исключительно сзади, аккуратно за водителем. Но там сейчас Маша-растеряша притулилась, придется, значит, посередке.

Кожу снова что-то царапнуло, на сей раз больнее, чем раньше. Да что же там так царапается-то, черт возьми?! С виду камешек был гладкий, без зазубрин, и оправка у него тоже гладкая. Может, это не камешек царапается, а совесть моя, еще не до конца убитая? Ладно, доскачу до автосервиса, возьму свою машинку, приеду домой и там разберусь: совесть это или что другое.

А водила нам с Машей-растеряшей попался ужасный. Мало того что болтливый – ни секунды тишины, – так еще и лихач.

– Вай, красавица, что за город – адны пробки, никакой тэбе скорости! Вот у меня дома, – он опять обернулся и подмигнул мне чернильным глазом, – вот у меня дома – это скорость! Я бы тэбя, красавица, вмиг до мэста даставил. – И тут же без перехода: – А к кому такой жэнцын роскошный едэт?

– За дорогой следи, дядя! – Вообще-то я не хамка и без лишней надобности людям не грублю, но уж больно водила приставучий. Не люблю таких.

– Вай, такой красивый жэнцын и такой злой! – Водила и не думал обижаться. Кстати, за дорогой он по-прежнему не следил, на меня пялился: то в зеркальце заднего вида, то, как сейчас, развернувшись к нам всем корпусом. Вот ведь урод!

– Останови машину! – Мне моя шкура дорога, я с этим камикадзе больше и метра не проеду, пусть с ним Маша-растеряша катается, ей, похоже, все равно...

Не остановил, запричитал что-то возмущенное на своем тарабарском языке, вместо тормоза, козлище, нажал на газ.

Сначала я почувствовала, как машину занесло, потом услышала истошный визг соседки и уже после этого сподобилась глянуть в окно. Лучше бы не смотрела...

Здоровенный джип шел юзом – прямо на нас. И от этого неуправляемого снаряда наш водила пытался уклониться...

Я не испугалась. Не потому, что такая смелая – просто не успела. Успела только подумать: «Ну все, кранты...»

И кранты случились... Свет мигнул и погас. Черепную коробку разорвал сначала крик, потом боль.

А потом я умерла...

* * *

Приглашение от Ефима Никифоровича Вятского, старинного папенькиного приятеля, принесли еще третьего дня. Я, помнится, твердо решила не ехать. В обычные дни у Ефима Никифоровича скучно, из развлечений только вист да разговоры об охоте. В вист я играть не умею, охоту не терплю. Что ж мне там делать?

Я бы и не поехала, сослалась бы на мигрень, провела бы день за книгой или за вышивкой, если б не мадам. Мадам велит называть ее маменькой, смотрит ласково, а в глазах лед. Сколько лет прошло? Осенью, считай, шесть будет, как папенька ее в дом привел, ее и Лизи, а я все никак поверить не могу и привыкнуть.

Мадам красивая: кожа белая и гладкая, глаза цвета берлинской лазури, волосы каштановые, с отливом в медь, фигура... Про фигуру промолчу, скажу только, что не сыскать

такого мужчины, чтоб на мадам не обернулся. А папенька из-за этой ее красоты страдает, дворня шепчется, что ревнует сильно. Ревнует, оттого и злой все время. Стэффа говорит, что с маменькой моей он другим был – добрым и веселым. Да я и сама помню. Бывало, посадит меня к себе на колени и давай щекотать, а когда у меня уже сил смеяться не останется, погладит по голове и скажет так ласково: «Ох ты, Сонюшка – свет в оконце!»

Все это давно в прошлом. Маменьки нет, а есть мадам со своей Лизи, и на колени меня к себе папенька не посадит, потому как я уже не маленькая девочка, а барышня на выданье. И не Сонюшка я больше, а Софья. И свет в оконце у папеньки теперь не я, а Зоя Ивановна, мадам...

Отвлеклась. Уж больно воспоминания тяжкие. Стэффа говорит – забудь, не гневи Бога обидами, а у меня все никак не выходит. Да и как забыть, когда каждый день – словно напоминание о том, что потеряла? Когда в матушкином будуаре мадам распоряжается, а в моей комнате – Лизи. Мадам сказала, что у Лизи слабые легкие и ей нужно много солнца, а больше всего его в моей спальне...

Теперь мы со Стэффой живем на втором этаже. Новая комната большая, гулкая и вся какая-то стылая. Даже летом в ней зябко, а зимой так и вовсе холодно. Зимой Стэффе приходится согревать мою постель горячими кирпичами, а меня – липовым чаем. Сама она живет рядом, через стенку. Папенька не решается сослать ее в людскую, потому что у Стэффы, как сказала однажды мадам, особое положение. Я помню ее столько же, сколько и себя саму. Она при мне не то нянькой, не то компаньонкой, не то прислугой.

Нет, все не так! Стэффа для меня самый родной человек, роднее у меня никого нету. Она странная. Худая, высокая, глаза черные, что угли. Мне иногда даже кажется, что по ночам они светятся. Как-то в детстве я ей про то сказала, а она только засмеялась. Смех у нее тоже странный – точно ворона каркает. И волосы что вороново крыло, без единой седой волосинки. А вот морицин много, и руки некрасивые, покореженные, с длинными желтыми ногтями. Ногти, верно, желтые оттого, что Стэффа курит трубку, черную, прогоревшую, с серебряным колечком у основания. Не знаю, где Стэффа табак берет, только пахнет ее трубка всегда по-особенному: то орехом, то вишней, то сосновой смолой, а то и вовсе чем-то незнакомым, сладковато-дурманным. Я однажды попросила, чтобы Стэффа мне дала попробовать покурить, а она заругалась, сказала, что мала я еще и глупа и что не к лицу юной графине всяким непотребством заниматься. А трубку загасила и в складках платья спрятавала. Платья у Стэффы тоже черные, как глаза, волосы и трубка. Наверное, за то ее в округе считают ведьмой и боятся, даже мадам. И только я люблю.

Снова не о том! Я бы к Ефиму Никифоровичу в гости не поехала, да мадам настаивает. Если мадам что удумает, ее не переупрямить.

– Софья, довольно дичиться! Ты ведь не ребенок уже, должна понимать, что у отца твоего с графом Вятским отношения не только дружеские, но еще и деловые. – Мадам многозначительно приподнимает тонкие брови. – Ефим Никифорович – человек строгий и основательный, коль просил явиться всем семейством, значит, на то у него свой резон имеется.

– А Настена сказывала, что Ефима Никифоровича сын из Санкт-Петербурга вернулся. – Лизи рассеянно улыбается, обмахивается костяным веером.

Зачем ей веер? Он нужен, когда лето и душно, а сейчас весна, холод и сырость. В доме топят два раза на дню, но с дымоходом что-то случилось и оттого пахнет дымом. Папенька давно собирается печника позвать, чтобы посмотрел, отчего дым, да все забывает. А мадам такими пустяками не интересуется. И Лизи тоже. Она вообще почти ничем не интересуется, живет в каком-то своем мире и, сдается мне, совершенно счастлива. На Лизи у меня даже злиться не получается. На мадам она похожа только снаружи. Такая же красивая: та же медь волос, синева глаз, изящество фигуры. На этом все. Того, чего в мадам с избытком, злости и расчетливости, в Лизи нет нисколечко. Впрочем, и доброты в ней тоже нет. Стэффа

как-то сказала, что цветку ни зло, ни добро ни к чему. Я ее тогда не поняла, а сейчас вот понимаю. Лизи – это цветок, красивый и равнодушный.

– Ну вернулся, и что? – спрашиваю просто так, чтобы позлить мадам.

Что Сеня приехал домой, я и без Лизи знаю, давеча та же Настена, язык без костей, о том экономке Анне Степановне рассказывала. Да не только про то, что молодой граф в родные пенаты пожаловать изволили, а еще и что товарища с собой привезли, а товарищ тот красоты невиданной. Глупость, наверное. У Настены все писанные красавицы. Стэффа говорит, что она хоть и видная из себя девка, да только дурная и до мужского брата слабая...

– Софья! – Мадам смотрит с укором, еще не злится, но уже начинает раздражаться. – Семен Ефимыч и в самом деле вернулся из Санкт-Петербурга. – Тут она вздыхает, закатывает глаза к потолку. Я понимаю почему. Мадам сама из Санкт-Петербурга и привыкнуть к здешней глуши до сих пор не может. А пусть бы и не привыкала! Пусть бы ехала в свою столицу! – И, позволь заметить, молодой граф Вятский весьма подходящая партия... – Ну вот, сейчас она скажет, что Семен – подходящая партия для Лизи, и я не должна мешать сестриному счастью, – весьма подходящая партия для тебя! – заканчивает мадам, и я замираю от удивления...

Оказывается, на том свете плохо. Может, я за свои прегрешения попала прямоком в ад, как и предсказывала маманька? Мне было очень больно, так, что хотелось выть в голос.

Я и выла, громко, до хрипоты. Блуждала в сером мареве, натыкалась на что-то или кого-то, шарил руками в вязкой пустоте, искала дверцу. Если в ад есть вход, то должен быть и выход. Мне не нужен парадный, я могу и через черный, только бы выпустили. Я бы раскаялась, честное слово, и все в своей жизни непутевой пересмотрела, стала бы на путь истинный.

Нашлась дверца. Сначала я увидела тонкую полоску света. В моем вязко-сером аду света не было. Значит, выход близко, надо только постараться, поднапрячься и доползти до дверцы...

Доползла. Я не я была бы, если бы не доползла. И вправду дверца, маленькая, резная, с прохладной ручкой и ключиком в замочной скважине. Ключик красивый, с красным камешком – где-то я уже такой камешек раньше видела, – удобно ложится в ладонь. Ну, вперед!

Я открыла глаза и закричала от нестерпимо яркого света. Куда ж это дверца меня привела – на новый уровень ада? Не буду смотреть! Закрою глаза и не буду. Что хотят, пусть со мной делают, а я не могу...

– Ева... Евочка... – Голос женский, незнакомый. – Доктор, мне показалось, или она глаза открывала?

– Открывала, Раиса Ивановна. – Второй голос мужской и тоже незнакомый.

– Ой, господи! Ой, слава тебе, всемогущему! – Женский голос запричитал, зашептал что-то торопливо, скороговоркой. Молитву, что ли? Интересно, кто это обо мне так на том свете печется? Бабушка могла бы, но я бабушкин голос узнала бы из миллионов. – Я же говорила, что кома – это не навсегда, я же говорила, что Евочка наша – сильная девочка, что она выкарабкается.

И Евочкой меня тоже никто никогда не называл, только бабуля. Мама, когда была трезвая, иногда звала официально, по-паспортному, – Еванжелиной, но чаще – Евкой-заразой. Отчимы, те вообще, по-моему, не знали моего имени. Воздыхатели частенько называли Ангелом, это, наверное, в противовес моему совсем не ангельскому характеру. Нет, один человек все-таки обращался ко мне ласково: Евочка-припевочка, Ева-королева... Вовка Козырев, друг детства, так меня называл. Но где я, а где друг детства Вовка!

– Раиса Ивановна, вы бы мне не мешали, мне надо посмотреть, убедиться... – Чьи-то пальцы коснулись моего лица, не грубо, но и не особо церемонясь, потянули вверх веко – в глаз тут же ударил яркий луч света, резанул по сетчатке, выжег дырку в мозгу.

– А-а-а! – Я заорала и дернулась, хотела еще отпихнуть наглуую лапу, но не смогла – что-то не то творилось с моими собственными руками, не слушались они меня. – Руки убери, урод! – И с голосом не то: мой громкий и звонкий, а этот какой-то странный, комариный писк, а не голос.

– Спокойно, Ева Александровна, не надо так нервничать, свет я сейчас уберу. Одну секундочку.

Не обманул, свет убрал и лапы заодно. Но глаза я все равно открывать не стану, хватит мне одной дырки в мозгу.

– Ева Александровна, вы бы открыли глаза. Обещаю, больно не будет.

Обещает он! Да только я не из тех, кто верит обещаниям. Я вообще ничему не верю: ничему и никому.

– Евочка, солнышко, ну открой глазки, ну посмотри на нас с доктором! – В женском голосе слезы. Чего это она из-за меня так убивается? И кто она вообще такая? Может, и в самом деле больно не будет? Любопытно же...

Доктор обманул, но не сильно. В том смысле, что боль была, но вполне терпимая, к такой привыкнуть – раз плюнуть.

– Вот и умница, хорошая девочка. – У доктора странное лицо: большое, круглое, с размытыми чертами. Я поморгала, но картинка сделалась лишь немногим четче. Что-то не то у меня с глазами, кажется, я хуже видеть стала. Стоп, а что еще у меня не в порядке?

Попытку сесть доктор пресек на корню, положил ладони мне на плечи, легонько надавил.

– Тихо-тихо. Ишь, какая прыткая! Месяц между небом и землей болталась, а тут гляди ж ты: не успела глаза открыть, а уже бежать собирается.

Кто это месяц между небом и землей болтался? Я болталась?!

– Евочка, как же я рада, девочка моя! – Женщина, уже немолодая, с уложенными в аккуратную прическу пепельно-серыми волосами и испещренным морщинами худым лицом, совершенно незнакомая. В линиях голубых глазах – слезы, в натруженных руках – платочек.

– Вы кто? – Говорить тяжело, потому что во рту сушь невероятная. Наверное, из-за этого собственный голос кажется чужим.

– Я кто? – Женщина испуганно прижала руку с платочком к груди. – Евочка, деточка, я же Рая – экономка твоя.

Экономка? Да у меня отродясь экономок не водилось.

– Евочка, ты меня не помнишь, да? – Женщина, считающая себя моей экономкой, схватила доктора за рукав халата и спросила с отчаянием в голосе: – Доктор, что же это такое?

– Раиса Ивановна, не волнуйтесь. – Доктор мягко, но настойчиво оттер ее от моей кровати, посмотрел на меня лишь самую малость озабоченно. – Ева Александровна, вы можете с нами поговорить?

Глупый вопрос, я ведь с ними и так уже разговариваю.

– Могу. – Я попробовала кивнуть головой, и больничная палата сразу качнулась и поплыла.

– Вот и чудненько! – Глаза доктора, неожиданно маленькие для такого большого лица, радостно блеснули. – Вы помните, что с вами приключилось?

Приключилось... Кранты со мной приключились – вот что! Села не в то время и не в ту машину, попала в аварию, думала, что умерла, а оказалось, месяц в отключке провалялась.

– Помню, я попала в аварию. – На женщину, испуганно мнущую носовой платок, я старалась не смотреть. Может, она и не реальная вовсе. Может, у меня галлюцинации – последствия черепно-мозговой травмы. Ведь наверняка у меня была черепно-мозговая травма, если голова даже спустя месяц раскалывается. Интересно, а доктор настоящий или тоже глюк? Для глюка он какой-то слишком осязаемый.

– Замечательно! – чему-то обрадовался доктор. – В смысле, замечательно, что вы это помните, – тут же поправился он. – А вот Раису Ивановну нисколечко не помните?

– Нисколечко.

– А Севочку? – подала голос женщина. – Севочку тоже не помнишь? Евочка, да как же так, ты же Севочку так любила!

Евочка-Севочка... Никого не помню! Ни-ко-го!

– Амнезия, – доктор потер пухлые ладошки, – банальная ретроградная амнезия. Так иногда случается после черепно-мозговых травм.

Амнезия. Слово знакомое, с неприятным кислым привкусом. Интересно, если у меня амнезия, то почему я помню, как она называется? И вообще, маму помню, отчимов своих, всех четверых, помню, Вовку Козырева помню, а экономку Раю – нет. Избирательная какая-то амнезия.

Я уже хотела было спросить об этой избирательности, но у Раисы Ивановны зазвонил мобильный.

– Да, Амалия, я вас слушаю. – Лицо моей новообретенной экономки вдруг поплыло, сделалось каким-то невыразительным и скучным. Скуку эту оживлял лишь злой огонек в глазах. Огонек подсветил их, добавил красок, сделал молодыми и красивыми. – Я в клинике, Амалия, где ж мне еще быть в такое время! А вот и не глупости! Вовсе не глупости! – Раиса Ивановна посмотрела на меня немного испуганно и понизила голос до громкого шепота: – Евочка в себя пришла. А вот так, взяла и пришла! Амалия, вы уж меня извините, не могу я сейчас говорить, домой приеду, все расскажу. А хотите, сами в клинику заедьте, а то за месяц были только один раз...

Любопытно, что ответила на столь пламенную речь Амалия (кстати, это имя мне тоже ни о чем не говорит)? Если верить собственным глазам, то какую-нибудь гадость, потому что Раиса Ивановна обиженно поджала губы, а мобильный с непонятым раздражением зашвырнула в сумочку.

– Прости, Евочка, – сказала Раиса Ивановна извиняющимся голосом, – не удержалась. Это Амалия звонила... – Она всмотрелась в мое лицо и спросила без особой, впрочем, надежды: – Амалию ты тоже не помнишь?

– Не помню, – подтвердила я.

– Ну, будь моя воля, я б ее тоже забыла, – проворчала Раиса Ивановна. – Амалия – последняя жена Александра Петровича, твоего покойного отца.

Интересное кино – последняя жена моего покойного отца! Нет, я, конечно, не маленькая, понимаю, что у меня есть настоящий папенька – предшественник многочисленных отчимов. Вот только представляла я его себе чем-то весьма условным и безликим – так, набор паспортных данных, а не живой человек. А тут, оказывается, у меня не только папенька имеется, то есть имелся, но еще и мачеха. Мало мне отчимов...

– И что она? Нет, ну в самом деле интересно, чем моя мачеха так насолила моей экономке.

– Она не верит, что ты выздоровела, – вздохнула Раиса Ивановна.

– А я выздоровела? – Вопрос этот я задала не экономке, а доктору. Раньше следовало его задать, сразу, как только отворила ту резную дверцу, да как-то боязно было. И до сих пор, честно говоря, боязно. Вижу, руки-ноги вроде целы, голова на месте. Осталось узнать, насколько хорошо все это добро функционирует.

– Еще нет, – доктор почесал кончик мясистого носа, – но, принимая во внимание ваш бойцовский характер, можно надеяться, что реабилитационный период пройдет быстро.

– То есть у меня ничего не поломано и особо не повреждено? – на всякий случай уточнила я.

– Ничего, – доктор расплылся в улыбке, – даже удивительно, что в такой жуткой аварии вы остались относительно целы. Вашей соседке повезло значительно меньше, а водитель скончался еще до приезда «Скорой».

– Евочка, я же тебе сколько раз говорила – не ездь на такси! За что мы Олегу такие деньжищи платим? Он же днями бездельничает, и машина простаивает...

– Стоп! – Я хотела крикнуть, но с моим нынешним голосом получилось как-то не слишком убедительно. – А что с моей соседкой?

Доктор развел руками:

– У нас это называется законом парных случаев: вас обеих привезли с абсолютно одинаковыми черепно-мозговыми травмами и идентичными симптомами.

– Она в коме?

– Да, к моему величайшему сожалению.

Не то чтобы я очень расстроилась из-за Маши-растеряши, каждый выплывает, как умеет, но в сердце что-то больно кольнуло. Вот жила себе девица, никого не трогала, никого не обижала, и бац – кома!

– Утомили мы вас, Ева Александровна, – сказал доктор тоном, не терпящим возражений, и строго посмотрел на мою экономку. – Поезжали бы вы, Раиса Ивановна, домой, а мы тут сами как-нибудь разберемся.

– Так я же... – Экономка хотела было возразить, но осеклась на полуслове и закивала головой: – Хорошо-хорошо, поеду! Мне же теперь нужно подготовиться к Евочкиному возвращению, в доме генеральную уборку сделать, пирогов с капустой, твоих любимых, – она посмотрела на меня с жалостью, – испечь. Ты же любишь пироги с капустой, правда, Евочка?

Я представила себе пироги с капустой и поняла, что не люблю ни капусту, ни пироги. Мне фигуру блюсти нужно, какие уж тут пироги! Но расстраивать тетеньку не стала, молча кивнула.

– Вы там не особо торопитесь, Раиса Ивановна, – предупредил доктор, – ближайшую неделю Ева Александровна проведет в клинике. Мы должны сделать необходимые обследования, убедиться, что с ней все в порядке.

– Значит, пироги пока печь не буду. – Раиса Ивановна деловито кивнула. Однако, организованная мне попала экономка. – Евочка... – Она вдруг понизила голос до шепота и спросила: – А Егорку ты тоже не помнишь?

Я могла бы спросить, кто такой Егорка, но не стала, лишь отрицательно мотнула головой. Экономка вздохнула, покивала каким-то своим мыслям, посеменила к выходу и уже в дверях обернулась и сказала:

– Это ничего, что ты память потеряла. Главное, жива осталась. Ты выздоравливай быстрее, Евочка, а я вот за тебя свечку в церкви поставлю...

– Спасибо, Рая. – Чуден мир! Свечки за меня тоже никто никогда не ставил...

Когда за экономкой закрылась дверь, я посмотрела на доктора и спросила, теперь уже не опасаясь задеть чьи-то светлые чувства:

– Ну, так что со мной на самом деле?

– Я надеюсь, что, помимо амнезии, с вами все в порядке. – Доктор накрыл мою руку своей горячей лапой. Это что, такое проявление участия или он пристаёт к беспомощной женщине?

– В таком случае я бы хотела встать. – Возмущенного взгляда хватило, чтобы он убрал руку.

– Ни в коем случае! Вставать вам разрешат только после дополнительных обследований. Ева Александровна, вы же не в санатории находитесь, а в специализированной нейрохирургической клинике, между прочим, в палате интенсивной терапии. – Он выразительно посмотрел на стоящую возле моей кровати медицинскую бандуру, выглядевшую весьма внушительно, но, кажется, отключенную. Наверное, эта штука и поддерживала мое брэнное тело, когда душа болталась неведомо где.

– Она отключена. – Я кивнула на бандуру.

– Отключена, потому что последние два дня вы уже могли дышать самостоятельно, но, Ева Александровна, сей факт ни в коей мере не отменяет необходимость детального неврологического обследования.

– А ускорить ваши обследования никак нельзя? – спросила я без особой, впрочем, на это надежды.

– Уж вы себе и представить не можете, как мы ускорились, доставая вас с того света. – Доктор скромно улыбнулся. – В обычной больнице с вами бы никто так возиться не стал.

Ну, насчет обычной больницы он зря, аппендикс мне, к примеру, вырезали в самой заурядной хирургии. И сделали это, надо сказать, неплохо, и зашили так красиво, что почти ничего не видно. Забесплатно, между прочим. Это я уже потом докторам презенты принесла в знак благодарности.

– Ну, Ева Александровна, – по официальному тону чувствовалось, разговор закончен и препираться нет смысла, – я вот прямо сейчас вам кое-какие обследования назначу, лечение скорректирую, успокоительное велю ввести.

Интересно, на кой черт мне успокоительное? Ситуация, конечно, не из приятных, но если перспективы у меня радужные, то и паниковать нечего.

– Мне бы поесть. – Я вдруг поняла, что дико проголодалась. Месяц без человеческой пищи еще попробуй проживи. Интересно, чем они меня кормили и как? Нет, лучше не буду думать о всяких медицинских подробностях, а помечтаю о плитке горького шоколада, жареной картошечке и домашних котлетках. К черту диету! Я ж небось за месяц комы изрядно похудела. Руки вон какие худющие стали, и ногти ужасные, точно не мои, точно не холила я их, не лелеяла, не укрепляла специальными жидкостями и лаками заморскими не красила. Опечалившись судьбой ногтей, я совсем забыла о докторе.

– Феноменально! – напомнил он о своем существовании. – Всего несколько минут, как вернулись с того света, а уже требуете кушать.

– А что, не должна? – насторожилась я. Вдруг они меня вообще кормить не собираются или будут пичкать тем, чем и раньше. Я скосила взгляд на укрепленный в штативе флакон с какой-то мутной гадостью.

– Ну что вы! Просто обычно люди, выйдя из такой глубокой комы, как ваша, не то что не хотят, не могут есть.

– И много их выходит из комы? – поинтересовалась я. Не скажу, что мне было так уж любопытно, но все же лучше знать статистику.

– На моей памяти ни одного, – покачал головой доктор. – Так что вы, Ева Александровна, в некотором смысле уникальны.

Я уже было испугалась, что он начнет препарировать мою уникальность, но доктор неожиданно замолчал, встал со стула и произнес полушутливо-полусерьезно: – Все, Ева Александровна, готовьтесь к вступлению в нормальную человеческую жизнь.

Нормальная человеческая жизнь – лихо сказано. А до этого она у меня какая была – растительная?

– Софья, поторопись! – Голос мадам злой и нетерпеливый, нетерпеливость эту не может приглушить даже плотно прикрытая дверь. – Софья, сколько еще тебя ждать?!

Платье новое, шерстяное и колкое. И шея сразу зачесалась, и руки. Не люблю, когда вот так – неловко, неудобно, некрасиво. Приподнимаю подол юбки – ботинки старые, истертые, но еще ладные, ноге в них удобно. Новые ботинки мадам мне обуть не разрешила, потому что под платьем все равно ничего не видно. Нет, мне не обидно. Ну, может, самую малость. Я привыкла уже, почти.

– Ну как? – Смотрю сначала на свое отражение, потом на стоящую рядом Стэфу.

– Красавица. – Стэффа улыбается, и оттого лицо ее становится молодым и добрым.

Врет. Красавиц в этом доме две: мадам и Лизи. А я так, не пойми что. Худая, нескладная, волосы черные, почти как у Стэффы, и кожа по-цыгански смуглая даже сейчас, в середине весны. Одно слово – дикарка. Только глаза красивые – кошачьи, с золотыми искорками у самого зрачка. Это Стэффа сказала про искорки, сама-то я ничего такого не замечаю. Вижу только, что к глазам моим очень идут янтарные бусики и янтарные же серьги крупными капельками. А Стэффа считает, что изумрудный маменькин гарнитур мне бы более подошел. Да что думать про гарнитур, когда все маменькины драгоценности теперь у мадам! Мне и с янтарем хорошо. Янтарь тяжелый и теплый на ощупь, а изумруды – холодные.

– Дай-ка. – Стэффа ловким движением поправляет мою прическу, закалывает шпилькой непокорный локон.

Не люблю прически, от них голова болит и чешется, но с мадам не поспоришь. Нет, я поспорить могу и даже иногда делаю это, но папенька с самой осени занемог, доктор Аристарх Сидорович говорит – сердце слабое. Пусть папенька и не любит меня как прежде, но все одно не хочу его тревожить попусту. Пусть прическа и бусики дешевые, пусть ботинки старые, с облупившимися носами, и платье, как у Лизиной гувернантки, мадемуазель Жоржины, такое же строгое и блеклое. Зато я знаю, что ничего-то у мадам не выйдет.

Это ж надо до такого додуматься: я и Сеня! Да мы с ним с малых лет вместе, он мне как брат, и помыслы его амурные мне всегда были ведомы. Не обо мне они. Ну и пусть Сеня целых четыре года в Санкт-Петербурге науки постигал! Не изменился он даже за это время, уж я-то знаю. Странное что-то мадам удумала. Пусть бы лучшие Лизи попыталась замуж за Семена выдать.

А и то правда, Лизи как раз в Сенином вкусе, ему всегда ангельского вида девицы нравились. Да и мадам от такого брака выгода несомненная. Вятские – род старинный и богатый, не то что наши. Нет, наши тоже старинный, вот только финансов у папеньки с каждым годом все меньше. Это я сама слышала, про финансы. Не подслушивала, просто папенька с управляющим больно громко говорили, а я мимо кабинета проходила, ну и задержалась...

– Софья! – А теперь мадам злится по-настоящему, голос звенит, и нотки в нем визгливые появились – верный признак гнева.

– Иди уже. – Стэффа легонько толкает меня в спину. – Сейчас ведь браниться начнет.

– Стэффа, – обнимаю ее за костлявые плечи, вдыхаю сладко-дурманный запах, – а обороти-ка ты ее в жабу.

– Не могу, Сонюшка. – Стэффа очень серьезна. По глазам видно, если б могла, оборотила бы. – Все, беги. Не нужно ее злить.

Разозлила.

– Наказание! – Мадам не смотрит в мою сторону, а смотрит на папеньку. По случаю выезда на нем парадный костюм, почти новый, лишь самую малость залоснившийся на локтях, и кельнской водой от папеньки пахнет так резко, что чихать хочется. – Николая, ты только посмотри, что твоя дочь вытворяет! Нет, я больше так не могу! У меня, Николая, нервы и мигрень! Мне Аристарх Сидорович давно советует на воды ехать, а я все тут... – Обиженный взгляд, скорбно поджатые губы и флакончик с нюхательной солью под носом, уже открытый. Актриса! Сразу видно, что актриса. По мне, так никудышная, а папенька верит: и про страдания, и про мигрень, и про то, что я – наказание. Ненавижу ее за это...

– Софья, ну что же ты так! – Папенька смотрит на меня с укором, а на мадам – с обожанием. – Зоенька же тебе мать заменила, а ты... – Больше он ничего сказать не успевает, потому как на выручку мне приходит Лизи.

– Соня, а что это за платье у тебя такое некрасивое, прямо как у мадемуазель Жоржины?! – В глазах цвета берлинской лазури искреннее недоумение.

Лизи, она вообще очень искренняя и правду всегда говорит. Мадам ее за это ругает, а Стэффа называет искренность Лизи скудоумием. Даже если так, мне все равно обидно и завидно. Хотя зависть – это плохо, так Стэффа говорит. На Лизи платье муаровое, нежно-фиалкового цвета, и шляпка в тон с шелковыми лентами, и белые атласные перчатки, а в ушах изумрудные серьги из маменькиного гарнитура. Куда уж моему янтарю...

– Лизи, – голос мадам хоть и строгий, но все одно ласковый. – Софья болела недавно, лихорадка у нее, помнишь, какая была? Куда ж ей сейчас легкое платье? А это вот теплое и удобное.

Недавно болела? Ну да, недавно – на Крещение, а тут уже Пасха скоро. Ненавижу...

* * *

Вечером ко мне нагрянули посетители. К тому времени я была измучена бесчисленными осмотрами, процедурами, анализами, успела поспать – спасибо успокоительному, – поругаться с доктором и послать куда подальше одну из медсестер. Похоже, я и в самом деле выздоравливаю. Мне б еще с амнезией разобраться...

Посетителей возглавляла Раиса Ивановна.

– Евочка, а я тебе тут блинчиков с творожком напекла. – Она воровато огляделась, сунула контейнер с блинчиками в прикроватную тумбочку. Далековато – не дотянусь. Мне, стыдно сказать, вставать не разрешают даже в туалет. Я из-за этого безобразия на медсестру и наорала.

– Рая, ну на кой хрен ей твои блинчики? – На передний план, отеснив плечом мою заботливую экономку, выдвинулась блондинистая деваха. Блонд ненатуральный, волосы скорее всего наращенные, ногти – сто процентов акриловые (это я даже при своем нынешнем не особо хорошем зрении увидела), морда пластическим хирургом отрихтована. Одета дамочка дорого, но безвкусно, я бы такую ужасную леопардовую кофточку ни за что даже в руки бы не взяла.

– А почему это ей не нужны мои блинчики?! – обиделась Раиса Ивановна. – Чем ее здесь кормят?

– Ее здесь кормят полезной и сбалансированной пищей. – Деваха поморщилась, перевела взгляд с экономки на меня. Выражение ее лица мне не понравилось. Не люблю я, когда на меня смотрят вот так... снисходительно, или даже презрительно. У меня от таких взглядов настроение портится и стервозность обостряется. – Рая говорит, тебе память отшибло?

– Раечка, – деваху я намеренно проигнорировала, – а ты не говорила, что у меня такой большой штат прислуги. Это, – небрежный кивок в сторону остолбеневшей блондинки, – наверное, моя секретарша? Напомните, чтобы я ее уволила, когда выйду отсюда. Не люблю, понимаешь ли, когда следят за модой и ноль внимания обращают на свой язык.

Деваха ахнула, силиконовая грудь пошла возмущенной волной, а тщательно запудренное лицо – красными пятнами.

– Ах ты... – Она шагнула к моей кровати с явно недобрым намерением.

– Евочка, – экономка Рая храбро преградила блондинке путь, встав на мою защиту, – это не прислуга, это Амалия, жена твоего покойного отца.

Ну, вообще-то, что сия выдра крашенная – моя мачеха, я и сама догадалась. У падчериц, наверное, исторически выработанная и генетически закрепленная неприязнь к мачехам. А мне так и вовсе повезло, маманька новообретенная – почти моя ровесница. Ну, может, годовков на пять старше, но благодаря стараниям пластического хирурга разница эта наверняка не слишком заметна.

– Ева, кома явно пошла тебе на пользу! – Как же я сразу не заметила этого красавчика?! Стоит, ухмыляется, смотрит с любопытством. Нормальный такой мужик, запросто сгодился бы для рекламы хорошего парфюма. В меру небрит, в меру непричесан, одет в меру небрежно и в

меру дорого – в общем, стильный дядька. Интересно, он тоже мой родственник? Плохо, если так, уж больно типаж интересный.

– Я похорошела и обрела неземной лоск? – спросила я не то чтобы игриво, скорее с намеком на игривость. А то мало ли что, еще окажется, что этот красавчик – мой кузен, а я ему глазки строю.

– Нет, ты научилась огрызаться, – он рассмеялся, подошел к кровати и приложился в галантном поцелуе к моей ручке. Раз к ручке приложился, а не в щечку поцеловал, значит, не родственник. Есть надежда. Кстати, о чем это он? Я научилась огрызаться? Да я, сколько себя помню, огрызалась. Наверное, еще с пеленок.

– Алексей Кузьмич, да что ж вы нашу Евочку смущаете?! – опять бросилась на мою защиту экономка. Жалованье ей, что ли, повысить за старания? – Ева, это...

– Позвольте я сам, – мягко, но решительно сказал красавчик. – Ева, вот уж не думал, что придется знакомиться с тобой заново. Я Алексей – твой друг детства и с некоторых пор сосед.

Интересно, что-то я не припоминаю такого друга детства. Из друзей детства у меня только Вовка Козырев...

– Не помнишь? – Алексей приподнял густые, идеальной формы брови.

– Как-то не очень, – призналась я. – Но ты на друга детства похож больше, чем вот она, – я невежливо ткнула пальцем в Амалию, – на мою мачеху.

Он опять рассмеялся задорным, с перекатами, смехом. Мне понравился его смех, да и сам он понравился. Хорошо, что он не мой родственник.

– Лешик, да что ты перед ней соловьем разливаешься! – закапризничала моя вторая мама. – Она творит черт знает что: из дому сбегает, в аварию эту дурацкую попадает, в коме месяц валяется – и ее все жалеют! А за что?! Привыкла всю жизнь за чьей-нибудь спиной...

– Тише, мама, не кричите. – Я раздраженно махнула рукой. – У меня голова от вас разболелась.

– Мама?! – Амалия застыла с открытым ртом, беспомощно посмотрела на моего друга детства Лешика. – Ты это слышал?! Ты видишь, что она вытворяет?! Я предупреждала, что нельзя с ней миндальничать. А вы все – ах, Евочка то, Евочка это! Евочка – такая чудесная девочка! Вот она, ваша чудесная девочка, смотрите!

– Амалия, дорогая, ты утрируешь. – Лешик подмигнул мне украдкой, обнял мою мачеху за плечики. – Ева пережила такой стресс, ей простительно.

– Что ей простительно? На нервах моих играть? – Амалия всхлипнула. Да, нервы у моей второй мамы ни к черту, лечить ей нужно нервы-то.

А ведь я и в самом деле устала: и от экономки, и от родственницы, и даже – вот уж не думала! – от друга детства Лешика. Эти незнакомые шумные люди раздражали и как-то дезориентировали. Трудно начинать жизнь с чистого листа, собирать воспоминания по кусочкам, как пазлы. У меня вообще такое чувство, что я – это не я. Может, я до сих пор в коме?

От этой совсем неоптимистичной мысли я покрылась испариной, украдкой ущипнула себя за руку. Получилось весьма ощутимо, наверное, теперь синяк останется. Значит, не в коме. Значит, это жизнь у меня такая, насыщенная.

– Евочка, а Севочка вот тут тебе передал. – Рая протянула мне бумажный цветок. Красивая вещица: с одной стороны, незатейливая, а с другой – попробуй такое чудо сделай. Оригами, если не ошибаюсь...

– Спасибо. – Цветок я аккуратно положила поверх больничного одеяла и спросила: – А кто у нас Севочка?

Рая вздохнула, приготовилась отвечать, но Амалия ее опередила:

– А никто! Севочка у нас приживалка в штанах. Твой папашка, козел старый, жалостливый был, всех сирых и убогих привечал.

– Амалия, ну что вы такое говорите?! – возмутилась экономка.

– Про кого конкретно: про Севочку твоего или своего муженька придурочного?

– Дамы, не ссорьтесь. – Друг детства Лешик успокаивающе поднял вверх руки. – Вы же видите, Ева устала, ей не до семейных разборок.

– Кто это тут говорит о семейных разборках?! – А маменьке моей палец в рот не клади – откусит по локоть. – Это Севочка у нас член семьи?! Лешик, ты бы хоть помолчал. Видишь же, как мне тяжело жить с этими...

– Тихо! – рявкнула я. На сей раз получилось весьма громко и, кажется, неожиданно, потому что Амалия заткнулась на полуслове, Лешик удивленно приподнял брови, а Рая испуганно ахнула. – В семейных делах я сама как-нибудь разберусь, – сказала я уже поспокойнее. – Вот выпишусь, вернусь домой и узнаю, ху из ху.

– Лешик, ты это слышал? – Амалия смотрела на меня во все глаза, как на диво дивное. – Лешик, я не узнаю нашу тихоню. Что с ней, а?

Лешик наклонился над кроватью, секунду-другую поизучал мое лицо, а потом сообщил:

– Я, конечно, не врач, но думаю, это последствия комы. Мозг долго не получал кислорода, и вот... – Что именно «вот», он не договорил, растерянно развел руками.

– Это не последствия. – Амалия подозрительно сощурилась и покачала головой. – Она ж под кайфом! Ей тут наркотики колют, вот она и беснуется.

– Зачем ей колоть наркотики? – удивился Лешик.

– Ну откуда ж мне знать, зачем?! Может, у нее болит что-нибудь, вот ей и колют.

– У нее болит, – проговорила я крадчивым шепотом. – У нее болят только барабанные перепонки от твоих воплей. И если ты сейчас же не успокоишься, я попрошу, чтобы тебе тоже что-нибудь укололи.

– Точно наркотики. – На сей раз мачеха даже не обиделась. – Из нее тут сделают наркоманку, а нам потом ее лечи.

Да, что-то не везет мне с родственниками. Маменька – не подарок, алкоголичка и гулена. Папенька, со слов маменьки, козел и злостный уклонист от алиментов. Отчимы вообще дебилы, все четверо. Мачеха – дура набитая. Друг детства Лешик, кажется, ничего мужик, но я на первые впечатления не особо полагаюсь. Рая вроде бы женщина приличная, но, опять же, на первый взгляд. Есть еще приживалка Севочка, который мне не пойми кем приходится и который владеет искусством оригами. Может, и еще кто есть из числа тех, кого я благополучно позабыла...

Додумать эту мысль до конца мне не дал вошедший в палату доктор. Теперь я уже знала, что зовут его Валентин Иосифович и что мужик он в принципе неплохой, только уж больно введливый. Толпа посетителей доктора не воодушевила, он нахмурился, сказал строго:

– А это что у нас тут за делегация? Господа, смею вам напомнить, что еще и суток не прошло, как Ева Александровна вышла из комы, больная очень слаба. Вы бы повременили с визитами, хотя бы денек.

Золотые слова! В этот момент я любила доктора горячо и искренне. Мне бы не вступать в пустопорожние разговоры с новоявленной родней, а полежать немного, подумать. Что-то не дает мне окончательно успокоиться, скребется на душе, точно стая голодных кошек.

– А мы уже уходим. – Рая поймала Лешика за рукав, потянула к выходу. – Мы же все понимаем про режим и восстановительный период. – Она выразительно посмотрела сначала на меня, потом на тумбочку с припрятанными в ней блинчиками.

– Всего доброго, Ева. Выздоровливай поскорее, – Лешик улыбнулся и помахал мне рукой. Мачеха вышла молча. За что ж она меня так не любит-то?

– Устали? – спросил доктор, когда за посетителями захлопнулась дверь.

– Устала. – Я зевнула. – Валентин Иосифович, что это вы мне за успокоительное такое колете? Как-то мне от него нехорошо: в глазах все плывет и мысли путаются.

– Хорошее я вам дал успокоительное, запатентованное, безвредное. – Доктор улыбнулся. – А то, что мысли путаются и в глазах плывет, так немудрено при вашем-то нынешнем состоянии.

– Больше не могу лежать, – пожаловалась я. – Встать хочу.

– Встанете. Вот завтра будут известны результаты предварительных исследований, и встанете. Думаете, Ева Александровна, мне очень интересно с вами тут пререкаться? У меня, знаете ли, других обязанностей хватает.

В том, что у Валентина Иосифовича хватает других обязанностей, я не сомневалась и в спор решила не вступать. Ничего, мы пойдем другим путем.

* * *

Поместье у Вятских огромное, раза в три поболее нашего будет. И дом красивый, двухэтажный, с изящными ионическими колоннами и лепниной. Дом, почитай, каждый год штуркуют, оттого он все время кажется по-праздничному нарядным. И тополя вдоль подъездной аллеи аккуратные, с высокими пирамидальными кронами. В начале лета деревья цветут, и аллея становится точно снегом усыпанной. Красиво и солнечно.

А у нас перед домом липы старые, разлапистые, и оттого под ними холодно всегда и сумрачно, как в моей новой комнате. А сам дом раньше тоже был красивый и нарядный. Только, когда у папеньки начались финансовые затруднения, не до красоты стало. Тут суметь бы мадам шубку, по французскому фасону шитую, выправить да Лизи учителя танцев выписать. Потому как без новой шубки мадам в свет выйти не сможет, а без танцев и музицирования образование ее дочки будет неполным.

– Николая, ты только посмотри, какие львы прелестные! – Мадам не сводит глаз с задремавших у лестницы каменных львов. – У Натальи Дмитриевны исключительный вкус. Помнишь, в Санкт-Петербурге мы вот точно таких же видели! Николая, – голос мадам делается мечтательным, – а что, если и нам себе такую же красоту заказать?

– Зоенька, сердечко мое, – взгляд у папеньки виноватый, а редкие волосы растрепались от ветра, и оттого он выглядит смешным и жалким, – давай повременим со львами. Тебе же известны наши хм... затруднения.

– Затруднения! – Мадам обиженно отворачивается. – У тебя, Николай, вся жизнь – сплошное затруднение. А я, между прочим, не к такому приучена. Если бы не ты, я бы сейчас...

Мадам не успевает договорить, возница Антип с захватским разбойничьим свистом останавливает лошадей прямо подле одного из львов.

– Приехали, Николай Евгеньевич! – Антип не любит мадам и противится ей, как умеет. Вот и сейчас лошади встали слишком резко, мадам швырнуло сначала вперед, потом назад, на папеньку. А Лизи взвизгнула и больно цапнулась в мою руку. – Я ж говорю, приехали. Что ж вы так-то, не держитесь? – Антип смотрит виновато, но в кустистых усах прячется улыбка. Отчаянный! Знает ведь, что мадам такое не спустит...

И не спустила бы, если б не Ефим Никифорович. Граф Вятский торопливо спускается по лестнице. Он шумный и большой, как медведь. Бурые с проседью лохматые волосы, сросшиеся на переносице брови, усы и бакенбарды грозно топорщатся, длинные руки раскинуты в стороны, а живот колышется от каждого шага.

– Приехали! – Он останавливается у кареты, распахивает дверцу, протягивает руку-лапицу мадам, улыбается широко и радостно, точно только нас и ждал. – Зоя Ивановна, голубушка, а вы все хорошеете! Сейчас ослепну от вашей красоты!

Мадам кокетливо поправляет шляпку, опирается на протянутую руку:

– Ах, Ефим Никифорович, полно вам меня смущать! – А у самой взгляд цепкий и ничуть не смущенный, я же вижу.

– Рад, рад вам несказанно, дорогие мои! – Сколько помню Ефима Никифоровича, он все время такой – громкий, чуть грубоватый и добродушный. Сеня на него похож. – Ой, а барышни какими красавицами стали! – Он подмигивает сначала мне, потом Лизи. – Только зиму их не видел, а уж невесты! Как есть невесты! – В последних словах и во взгляде, вдруг сделавшемся серьезным и внимательным, мне чудится намек. Неужто Ефим Никифорович и в самом деле считает, что мы с Сеней... Нет, не стану думать. Это все мадам со своими глупостями.

– Ефим, друг любезный, давненько мы с тобой не виделись! – Папенька бодро, точно и не из-за его сердца совсем недавно печалился Аристарх Сидорович, спрыгивает на землю и тут же попадает в медвежьи объятия.

– Хорош, хорош. – Ефим Никифорович хлопает папеньку по спине с такой силой, что мне становится страшно – как бы чего не сломал. – А говорил, что здоровье пошаливает! Врал небось! Вон каким гоголем ходишь! Вот что я тебе скажу, Николай, с такой супругой, как Зоя Ивановна, хворать грех. Красота – она исцеляет!

– Правда твоя, Ефим Никифорович. – Папенька улыбается, а взгляд сторожкий.

– Ну что ж я, башка стоеросовая, – граф Вятский громко хлопает себя по лбу, – в дом-то вас не приглашаю! Совсем из ума выжил на старости лет. Не зря, видать, Наташенька моя на меня бранится за рассеянность. А у нас-то уже все готово: и поросенок молочный с яблочками, и гусиная печенка, и зайчатинка в сметанке, и грибочки соленые. – Он наклоняется к папеньке, шепчет заговорщицки: – И наливочка отменнейшего качества, такая, что слезу вышибает. – И тут же, спохватываясь: – А любезным дамам шоколад, кофей и шампанское.

Одной рукой он подхватывает мадам под локоток, второй стискивает папенькино плечо и устремляется вверх по лестнице. Мы с Лизи переглядываемся.

– Станный какой, – Лизи недоуменно пожимает плечиками. – Маменька говорит, что граф Вятский большой оригинал, а мне кажется, он просто дурно воспитан.

Даже не знаю, что и ответить. Часто определения, которые дает людям Лизи, оказываются очень точными. Отчего так выходит, не пойму. От скудоумия, что ли...

– Пойдем уж! – Поддергиваю подол платья и, не дожидаясь Лизи, поднимаюсь по лестнице.

В доме шумно, из-за неплотно прикрытых дверей балльной залы доносятся гул голов, резкие звуки скрипки, гулкое контрабасное уханье, верно, оркестранты настраиваются. Сколько помню, Вятские всегда празднуют с размахом: с оркестром, цыганами, зимними катаньями на санях. И повод не важен, будь то Рождество или вот возвращение в родимый дом единственного сына Сенечки.

– Девочки! – Наталья Дмитриевна, наряженная в изумрудно-зеленое атласное платье, которое удивительным образом не красит ее полную, напрочь лишённую талии фигуру, заключает нас с Лизи в объятия, сразу обеих. – Вот и славно, что вы приехали! – Она смотрит сначала на Лизи, потом на меня, как мне кажется, испытующе и многозначительно. От нее пахнет чем-то приторно-сладким, кондитерским. Лизи едва заметно морщится, а я улыбаюсь. Наталья Дмитриевна мне нравится, она добрая и настоящая, не такая, как мадам. – А Семен наш с приятелем пожаловал! – Она тоже улыбается, и на ее румяных щеках появляются озорные ямочки. – Да что я вам рассказываю, сейчас сами увидите!

Не умолкая ни на секунду, Наталья Дмитриевна увлекает нас с Лизи ко входу в балльную залу. Двери распахиваются, и на мгновение я слепну. Слишком много света: радугой переливающаяся под потолком хрустальная люстра отражается в начищенном до зеркального блеска паркете, в серебряных подносах с фруктами, бокалах с шампанским, драгоценностях дам. Ярko, красиво, празднично. Настоящий бал. А я в платье, как у мадемуазель Жоржины...

В этот момент я ненавижу мадам как никогда сильно, я даже желаю ей смерти, потому что чувствую себя замарашкой на сказочном балу. Как же ее звали? От обиды в голове все перемишивается, и сказка, с детства знакомая, читаная-перечитаная, напрочь выветривается из памяти. Вспомню, потом обязательно вспомню. Когда приду в себя...

– Семен! Сенечка! – Наталья Дмитриевна одной рукой продолжает обнимать меня за талию, а другой машет сыну, затерявшемуся в толпе гостей. – Погляди-ка, дружок, кто к нам пожаловал!

Смотрю в ту же сторону, что и Наталья Дмитриевна. Семена замечаю сразу. Он нисколько не изменился. Ну, разве что в плечах раздался. Похож на Ефима Никифоровича, только стройнее и не такой лохматый. Одет по столичной моде, но без лоску и изысканности, не то что господин, стоящий рядом с ним... Господин оборачивается вслед за Сеней, и сердце мое перестает биться...

* * *

Если я что-то решила, то меня уже не остановить. Маманька говорит, что у меня башка упрямая – чугунная, а Вовка Козырев – что со мной спорить бесполезно, потому как я к доводам разума никогда не прислушиваюсь.

Да, грешна – не прислушиваюсь. Я к интуиции больше прислушиваюсь или вот к урчанию голодного желудка. Кое в чем Рая оказалась права – кормежка в этой клинике отвратительная. А в тумбочке домашние блинчики с творогом...

Я подождала, когда в коридоре стихнут шаги Валентина Иосифовича, полежала еще пару минут для надежности, а потом не без внутренней дрожи вытащила из вены иглу от капельницы, помахала затекшей от неподвижности рукой. Теперь, когда обе мои руки оказались свободны и в движениях меня ничто не ограничивало, я могла дотянуться до заветной тумбочки с блинчиками.

Дотянулась и сразу сунула один в рот. Блинчик оказался изумительным, нежнейший творог таял на языке, как любимое с детства ванильное мороженое. Эх, благодать!

Воодушевившись маленькой победой, я отважилась на большее. Осторожно села в кровати, коснулась босыми ногами выложенного плиткой пола. Ну, самое время проверить, в каком состоянии мое тело...

Первые шаги я сделала, придерживаясь за край кровати. Ноги подкашивались, голова кружилась, но передвигаться самостоятельно я могла. Это воодушевляло и вселяло оптимизм. Оптимизма хватило, чтобы решиться на отчаянный поступок: по стеночке добраться до двери, ведущей в санузел. Пить хочется, да и умыться было бы неплохо. Вон, взмокла вся от напряжения.

Путь до санузла только на первый взгляд казался простым, а на самом деле занял минут пять и высосал остатки сил, но не возвращаться же, ничего не сделал! Как там говорится у классика? Тварь я дрожащая или право имею?! Для меня нынче поход в санузел – это самый лучший способ самоутверждения.

Выкрашенная белой краской дверь гостеприимно приоткрылась. Вцепившись одной рукой в дверной косяк, второй я нашарила выключатель.

Санузел радовал стерильностью и функциональностью. Умывальник, над ним зеркало, унитаз, биде, душевая кабинка, вдоль стен – хромированные поручни, на полу резиновый коврик, чтобы не поскользнуться, пахнет чем-то ненавязчиво-цветочным. Я ухватилась за поручень, осторожненько, приставными шажками, добралась до умывальника.

В зеркало смотреться не хотелось. Что хорошего я могу там увидеть?! Поэтому я сначала умылась и только потом взглянула на свое отражение...

Зеркало в этой супер-пупер крутой клинике было каким-то неправильным, из него на меня смотрело чужое лицо: серо-мышинная кожа, серо-мышинные глаза, серо-мышинные волосы. Не к такому отражению я привыкла за тридцать лет своей непутевой жизни...

...Наверное, перед тем, как упасть в обморок, я все-таки успела заорать, потому что, когда в мое брэнное тело – или не мое? – вернулось сознание, оказалось, что лежу я не на холодном кафельном полу, а на больничной койке и над ухом у меня стрекочет все та же пластиково-железная бандура.

– Ну что это за самодеятельность? – Голос сердитый, с непривычными стальными нотками. – Ева Александровна, я вас, голубушка, спрашиваю! То, что вам жизнь не мила, я еще как-то могу понять. Но пожалейте в таком случае меня, своего лечащего врача, проявите человеколюбие! Не для того я вас с того света доставал, чтобы вы повторно скончались, приложившись затылком о кафельный пол. Как только додумались встать да еще идти куда-то?! Как сил хватило?! – Теперь в голосе слышалось что-то очень похожее на восхищение. – Вам еще перелома какого-нибудь не хватало для полного счастья. Ну-ка, посмотрите сюда! – Перед моим лицом замаячил неврологический молоточек.

– Перестаньте! – Свободной рукой я отмахнулась от молоточка и от доктора заодно.

Может, не все так страшно, может, это у меня и в самом деле такие галлюцинации? Мышино-серое лицо... знакомое... Ясное дело – знакомое! Именно его я видела перед самой своей смертью – Маши-растеряши лицо. Наверное, что-то в памяти переключилось, отложилось, запомнилось, а потом вот... воспроизвелось.

– Она еще и руками машет, попрыгунья! – Доктор больше не сердился, хотя смотрел по-прежнему строго. – А сама режим нарушила, блинчиков контрабандных наелась!

Так все обыденно: режим нарушила, блинчиков наелась. Может, и в самом деле галлюцинации?

– Валентин Иосифович, мне бы в зеркало посмотреться. – Получилось жалостливо.

– С ума сойти! Какое зеркало, милочка?! Не пойму, как в вас жизнь теплится, а вам приспичило собственным отражением полюбоваться.

И плывет все вокруг не от травмы и не от стресса, а оттого, что у Маши-растеряши было плохое зрение. Ох, мамочки...

Я вообще-то сильная и смелая, чтоб меня напугать, нужно очень сильно постараться, но сейчас, рассматривая свою – не свою руку, я почувствовала, что близка к самой настоящей истерике. Кажется, доктор тоже это почувствовал, потому что сказал поспешно:

– Ева Александровна, к большому зеркалу я вас не подпущу, и не просите, но, если хотите, могу предложить карманное. Светочка, – он обернулся к стоящей тут же в палате молодой медсестре, – у вас пудреница есть?

У Светочки пудреница была, и слетала она за ней очень быстро. Когда я брала зеркальце, руки мои дрожали так сильно, что Валентину Иосифовичу пришлось мне помочь.

...Надежды на то, что я всего лишь жертва галлюцинаций, не оправдались. Если я и была жертвой, то чего-то более серьезного, чем банальный глюк, потому что из зеркала на меня смотрело все то же мышино-серое лицо...

Оказывается, я многого о себе не знала. Выяснилось, что довести меня до истерике – раз плюнуть, достаточно переселить мою душу в чужое тело... Я кричала и плакала одновременно, я укусила доктора за руку и вдребезги разбила пудреницу. Я бесновалась до тех пор, пока в плечо мне не вонзилось что-то острое...

* * *

Не знаю, сколько я провалялась в отключке. Наверное, долго, потому что, когда пришла в себя, в окно светило яркое солнце. Рядом с моей кроватью, как привязанная, сидела все та же медсестра Светочка.

– Доброе утро. – Девчонка покосилась на меня с явной опаской.

– Не такое уж и доброе. – Голова гудела и раскальвалась, пить хотелось невыносимо. – Воды дадите?

– Секундочку. – Она вспорхнула с места и почти мгновенно вернулась со стаканом воды. – Вот, пожалуйста.

Вода оказалась невкусной, с отчетливым привкусом хлорки. Похоже, медсестра побоялась оставлять меня одну и наполнила стакан прямо из крана. Это был неплохой повод для скандала, но я вдруг поняла, что скандалить мне не хочется. А хочется другого – снова взглянуть на свое отражение в зеркале. Как говорится, бог троицу любит.

Светочка была девушкой бескомпромиссной: вести меня в санузел или хотя бы принести мне новое зеркальце отказалась вежливо, но категорично. Ей, видите ли, Валентин Иосифович велел за мной присматривать и никаким моим глупостям не потакать.

Глупостям! Знали бы они все, что это за глупости... Ладно, попробую пойти другим путем. Начну с ревизии того, что можно увидеть и без помощи зеркала. Так, руки не мои – тут без вариантов. Грудь похожа, но не моя, вместо моего полноценного третьего размера тут едва ли наскребется на второй. С животом тоже подстава. Где мой взлелеянный в тренажерном зале пресс, где подпитанный солярием загар?! Бедрa узкие, мальчишеские, ноги худые, цыплячьи, педикюра, разумеется, нет. Все, приплыли...

Цепляясь за последнюю надежду, как утопающий за соломинку, я посмотрела на надзирательницу Светочку.

– Скажите, а какого цвета у меня волосы? – Может, еще не все потеряно, может, это у меня со зрением проблемы, а не с телом.

Светочка если и удивилась, то виду не подала, но, прежде чем ответить, долго думала, а потом сказала со свойственной всем малолеткам непосредственностью:

– Никакие. Ну, в смысле, серые, или темно-русые, или шатен, – она снова задумалась, а потом добавила успокаивающе: – Да вы не расстраивайтесь, волосы ведь и перекрасить можно, если этот цвет вам не нравится. Вот хотя бы в такой, как у меня, – она кокетливо коснулась выбившегося из-под медицинской шапочки пергидрольного локона.

Нет, мне такая «красота» не нужна, я лучше... Стоп, да о чем я?! Девчонка только что подтвердила мои самые худшие подозрения: не только я вижу себя серой молью, все остальные тоже видят во мне серую моль. А ведь цвет моих настоящих волос – темно-каштановый, почти черный.

Когда я наконец осознала, что со мной произошло, в голове зашумело так, словно палату заполнил оглушительный грохот, с которым катилась под откос вся моя будущая жизнь. Столько лет потом и кровью добиваться желаемого, выцарапываться из нищеты, по кирпичикам лепить образ нестигаемой стервы и тело богини, завоевывать место под солнцем для того, чтобы в один прекрасный момент очнуться на больничной койке в чужой шкуре с багажом чужой жизни...

В тот момент я не думала, как и из-за чего случилось это безобразие, в тот момент я думала только об одном – с прежней жизнью придется распрощаться навсегда. Кажется, я даже заплакала, потому что медсестра Светочка бросилась меня утешать.

Страдания мои длились недолго. Может, тело у меня теперь и не самое лучшее, зато характер, слава богу, остался прежним. Друг детства Вовка Козырев, который, в отличие

от Лешика, был настоящим и исключительно моим, говорил, что я бой-баба и кремень-девка. Ну что ж я, бой-баба, не справлюсь с такой мелочью, как переселение душ, или как там по-научному называется фигня, которая со мной приключилась? Справлюсь! Я еще и не с таким справлялась, причем в возрасте куда более юном и невинном, когда ни мозгов, ни жизненного опыта – ничего нет. Кстати, о возрасте, какое-никакое утешение, кажется, это тело лет этак на пять моложе моего собственного. Когда тебе скоро тридцатник, счет идет уже не на годы, а на месяцы. Да что там месяцы, тут каждый день на счету. А то, что тело такое никакое, – не беда, я ему проведу *up graid*: в солярий свожу, в тренажерный зал, волосы покрашу, вместо очков контактные линзы вставлю. Может, даже цветные, чтобы нейтрализовать этот ненавистный серый. Макияж, опять же, творит с женщинами чудеса. Духи хорошие...

Не то чтобы я окончательно успокоилась, но смирилась и к приходу доктора успела взять себя в руки. А может, и не было в том моей заслуги, может, моему почти спартанскому спокойствию поспособствовало то чудесное запатентованное и одобренное успокоительное, которое мне колют уже второй день.

– У меня хорошие новости, – с порога сказал доктор. – Все у вас, Ева Александровна, в полном порядке. Сердечко, правда, немного пошаливает, но это уже не к нам претензии, все, что могли, мы вылечили.

– Когда выписка? – Я решила брать быка за рога.

– Какая выписка?! – доктор удивился так искренне, что я даже устыдилась. – Ева Александровна, понимаю ваше нетерпение, но и вы меня поймите. То, что ваше тело находится в относительном порядке, – это чудо, но даже чуду необходима определенная подпитка. Недельку, я думаю, вам придется побыть с нами.

Я не хотела торчать в этой клинике еще целую неделю, но голос разума уговаривал согласиться с доводами доктора. Что меня ждет за пределами больницы? Чьей жизнью я собираюсь там жить? Ведь вместе с чужой шкурой мне досталась и чужая жизнь, а о ней я ровным счетом ничего не знаю. Еще счастье, что новоявленные родственники списывают мое неадекватное поведение на амнезию – спасибо Валентину Иосифовичу, поспособствовал, но ведь проколов не избежать. Ох, чует мое сердце – или не мое? – что с Машей-растеряшей мы похожи, как черт с ангелом, и возникнут у меня в будущем очень серьезные проблемы.

– Да, я думаю, вы правы, Валентин Иосифович, – мне даже удалось выдавить из себя фальшивую улыбку. – Раз надо, значит, надо. А можно вопрос?

Доктор, приготовившийся к долгим уговорам и препирательствам, заметно расслабился:

– Сколько угодно. Я весь внимание.

– Как моя фамилия? – Я решила начать издаleка. – Из-за этой амнезии... ну вы понимаете...

– Конечно, я все прекрасно понимаю, – доктор кивнул. – Вас зовут Ева Александровна Ставинская, вам двадцать три года, прописаны, если не ошибаюсь, в Барвихе.

О как! С возрастом я попала в точку. А живу, оказывается, не лишь бы где, не в двухкомнатной «распашонке» у черта на рогах, а в элитном поселке. Порадоваться, что ли, счастью такому?

– А профессия? Какая у меня профессия?

Честно, я уже приготовилась к тому, что в прошлой жизни была бездельницей и вела никчемную растительную жизнь, но доктор меня удивил:

– По профессии вы, Ева Александровна, детский психолог, работаете в интернате для детей с особенностями психики.

Интересно, интересно, живу в Барвихе в собственном, надо полагать, нехилом особняке, имею штат прислуги и в то же время работаю в каком-то интернате.

– Ну вот, собственно говоря, и вся информация, которой я располагаю, – доктор развел руками. – Остальное, думаю, вам расскажут друзья и родственники.

Да уж, родственники расскажут, особенно мачеха. На мгновение мне стало жаль бедную Машу-растеряшу, которая, оказывается, никакая не Маша, а тоже – бывают в жизни совпадения! – Ева. До чего же ей не повезло, Амалия небось издевалась над бедной сироткой как хотела. Это если судить по тому, с каким гонором она на меня наехала. Ладно, проблемы будем решать по мере поступления.

* * *

Князь Андрей Сергеевич Поддубский – вот как зовут человека, остановившего мое сердце! Андрей Сергеевич. Андрей...

Фигура высокая, чуть сутулая, но все одно удивительно складная. Лицо из тех, что врезаются в память раз и навсегда. Нет, не красивое, но необычайно выразительное и мужественное. Несколько тяжеловатый подбородок, жесткая линия рта, нос с благородной горбинкой, глубоко посаженные глаза. Они цвета такого необыкновенного, точно море в шторм – сине-серые, переменчивые, в обрамлении прямых черных ресниц. И брови прямые, черные, над правой – едва заметный шрам. А волосы чуть светлее, длинные, с непокорной волной. В глазах море, в волосах волны. Пропала я...

– Сонечка, ну до чего ж ты похорошела! – Это Семен, говорит громко, разглядывая меня с бесцеремонностью давнего приятеля. – Андрей, позволь представить тебе графиню Софью Николаевну Шацкую. Мы знакомы с ней почитай с пеленок. – Он улыбается, обнажает в улыбке крепкие желтоватые зубы, подталкивает меня к Андрею Сергеевичу.

– Рад знакомству, Софья Николаевна. – А голос у него густой, глубокий и улыбка красивая, слегка ироничная. Он целует мою руку, и я испуганно вздрагиваю, а ладонь тут же делается влажной от волнения. – Семен рассказывал, какие дивные нимфы обитают в здешних местах. Признаться, не поверил. А сейчас верю. – Галантный полупоклон мне и восхищенный взгляд мимо меня. – Сеня, ты негодник! Признайся, ты специально так долго не приглашал меня к себе, чтобы скрыть от моих глаз этот цветок.

Цветок... Глаза – берлинская лазурь, губы – нежность розы, платье – букет фиалок. Я знаю только один цветок – Лизи.

– Лизавета Григорьевна Ерошина. – Во взгляде Семена ни следа недавней фамильярности, круглые, ну точно свиные, глаза его полны преданного восторга. – Сонечкина младшая сестра.

– Сводная, – Лизи улыбается обоим одновременно, смотрит сквозь полуопущенные ресницы, приседает в легком реверансе, фиалковое платье с тихим шуршанием метет паркет. Я слышу это шуршание очень отчетливо, так же отчетливо, как участвовавшее дыхание князя.

Он касается ладони Лизи осторожно, словно это не ладонь, а хрупкий цветок. Сначала кончиками длинных аристократических пальцев, потом губами. Долго, очень долго. Мое сердце ударами отсчитывает меру его приличия. Один, два, три... двенадцать.

Вспомнила. Я вспомнила, как называлась та глупая сказка – «Золушка». У Золушки были завистливые сестры, злая мачеха, фея-крестная, прекрасный принц и хрустальная туфелька. У меня есть только мачеха, сестра, похожая на цветок, и робкая надежда, что когда-нибудь прекрасный принц обратит на меня свой взор.

– Семен, бог мой, как вы возмутились! – За спиной ненавистный голос мадам и смущенное покашливание папеньки. Интересно, он хоть что-нибудь замечает? Он видит, что его единственная дочь похожа на гувернантку? Что вместо балльных туфелек на ней сбитые ботинки? – Признаться, я вас не сразу узнала.

Мадам так же, как и Лизи, смотрит одновременно на Семена и князя, но на князя чуть пристальнее, чуть многозначительнее.

– Да, уезжал безусым юнцом, а вернулся не мальчиком, но мужем. – Ефим Никифорович не дает Семену возможности ответить, по-хозяйски занимает внимание гостей. – А это, позвольте представить, князь Андрей Сергеевич Поддубский, сын моего давнего приятеля, можно сказать, закадычного друга Сергея Викторовича Поддубского.

Далее все идет согласно этикету: все друг другу улыбаются, говорят приятности. Мне бы вот сейчас взять да спрятаться, чтоб не пугать гостей своим гувернантским платьем, но не могу. Точно гирями пудовыми прикована к князю Поддубскому. Больно-то как и обидно...

– Софьюшка. – На плечо ложится мягкая ладонь, ноздри щекочет пряно-кондитерский аромат. – А что ж ты тут стоишь одна, грустишь? – Наталья Дмитриевна смотрит внимательно, ласковым взглядом точно ощупывает. – Девочка, ты сейчас поразительно похожа на Анну, свою матушку. Мы дружили с ней, ты знала?

Я не знала. Не могу ни о чем думать, и голова болит.

– А давай-ка мы с тобой выпьем шампанского! – Наталья Дмитриевна улыбается, и в улыбке ее мне чудится фальшь.

Беру с серебряного подноса бокал, смотрю сквозь запотевающий хрусталь. В хрустальном мире все неправильное, изломанное и обманчиво искристое. Шампанское кислит и царапает горло. У князя Поддубского глаза цвета штормовой волны, в них – восхищение. Не мной...

* * *

Я рассчитывала, что ночью, когда настырный персонал оставит меня наконец в покое, смогу спокойно обо всем подумать, разложить по полочкам те факты, что у меня есть, проанализировать их, выработать тактику и стратегию. Но коварный Валентин Иосифович решил, что я излишне возбуждена и эмоционально ранима, а посему велел уколоть мне успокоительное. Так что ночь и часть утра я проспала сном младенца, а когда проснулась, оказалось, что чуда не случилось и моя шкура по-прежнему не моя. Зато доктор разрешил мне вставать, на первых порах исключительно под присмотром медсестры.

Под присмотром так под присмотром – я не возражала. Я теперь вообще сделалась очень покладистой, потому что уразумела: споры лишь крадут мое время, а его у меня мало, я же так и не успела выработать тактику и стратегию.

Медсестра, на сей раз не привычная уже Светочка, а какая-то новая тетенька, довела меня до санузла и манекеном застыла на пороге.

– Со мной мыться собираетесь? – усмехнулась я.

Медсестра обиженно фыркнула, поджала тонкие губы, но все-таки капитулировала.

– Дверь на защелку не закрывайте, – буркнула она ворчливо, – а то мало ли что.

Да, по правде сказать, я и сама боялась этого «мало ли чего», подходя к зеркалу со смесью надежды и ужаса.

Из зазеркалья в меня внимательно всматривалась «не я». Худенькая, если не сказать, субтильная, небольшого росточка – сантиметров сто шестьдесят против моих ста семидесяти трех, – с волосами никакого цвета и такими же никакими, с беспомощным близоруким прищуром, глазами. Глаза были особенно не моими, я не умею смотреть на людей так пытливо и требовательно одновременно. Рука с тонкими прожилками вен потянулась к зеркалу, узкая ладонь оставила на сверкающей поверхности отпечаток, а в «не моих» глазах появилось что-то новое. Узнавание...

В этот момент я вдруг отчетливо осознала, что стою в метре от зеркала и мои руки спрятаны за спину...

Бледные до синевы губы дрогнули в подобии улыбки, я сделала шаг назад, а мое отражение – шаг вперед.

– Паутина... – Зеркало в том месте, где отражались не мои губы, словно коснувшиеся зеркальной поверхности с обратной стороны, пошло мелкими трещинками. – Паутина...

Я зажмурилась, зажала уши руками и завизжала...

– ...Да что ж вы казенное имущество ломаете? – Кто-то сильно тряс меня за плечи. – Это чем же вы зеркало-то так раскурочили?!

Я замотала головой и попыталась высвободиться из настырных объятий.

– А вот все расскажу Валентину Иосифовичу, он вас накажет, не позволит встать еще неделю, будете тогда знать, как зеркала бить.

Угроза подействовала на меня неожиданно отрезвляюще, я открыла глаза, посмотрела сначала на склонившуюся надо мной медсестру (я уже не стояла, а лежала на кафельном полу), потом, не без внутренней дрожи, на зеркало: сеть трещинок, похожих на паутину, никуда не делась.

– Там... – Я снова зажмурилась, чтобы не видеть этого, и ткнула пальцем в сторону зеркала. – Там не я.

– Ну, знамо дело, не ты, – согласилась медсестра и ласково погладила меня по голове. – Ты же месяц неизвестно где пропадала, успела измениться.

Да, я успела измениться, до неузнаваемости. С этим я уже почти смирилась, но как смириться с тем, что мой зеркальный двойник – даже не новая я, а какое-то совершенно другое существо?!

– Ничего, деточка, – медсестра продолжала гладить меня по голове, – пройдет неделька-другая, и станешь ты как новая, себя прежней красивее.

Это вряд ли. Если мне вот такие глюки начнут мерещиться, то «как новая» я точно не стану. Может, мне с доктором посоветоваться? Рассказать ему все, попросить помощи? Ага, я расскажу, а он меня спровадит напрямиком в психушку, причем из самых лучших побуждений, чтобы меня там спасли, вправили мне мозги. Нет, придется молчать и как-нибудь самостоятельно со всем разбираться...

– Ну что, мыться-то будешь? – спросила медсестра.

Конечно. Я ж месяц без ванны, вот только...

– Может, вы со мной побудете? – К черту стыдливость! Страшно мне тут одной, а в кабинке вон экран есть матовый.

– Побуду, куда ж я денусь! – Медсестра кивнула. – А ты давай-ка на ножки вставай, еще застудишься чего доброго на холодном полу-то. – Она помогла мне подняться, довела до душевой кабинки, закрыла крышку унитаза, уселась сверху. – Только ты недолго, ополоснулась – и хватит. И воду горячую не делай, а то вдруг плохо станет...

Воду я сделала горячей, настолько, что почти немоготу терпеть. Когда мне плохо, вода должна быть именно такой, она меня лечит лучше всяких успокоительных. Не мое тело плескалось под горячими струями, а я думала, как же мне жить дальше. Думала, думала и додумалась. Во всем виновато успокоительное, хорошее, запатентованное, от него у меня галлюцинации и расстройство психики. Померещилось невесть что, я запаниковала и сама же по зеркалу врезала... феном. Плохо, что на действие лекарства нельзя списать тот факт, что живу я нынче, фигурально выражаясь, в новом домике. Старый мне, конечно, больше нравился... Я замерла, выключила душ. Господи, как же я про себя-то забыть могла?! Озаботилась чужими проблемами, домик чужой обживаю, с родственниками знакомлюсь, а о том не думаю, что сейчас с моим телом, каково ему, родненькому, без хозяйки...

– Вымылась? – послышалось из-за экрана.

– Ага. – Я завернулась в полотенце, вышла из душевой кабинки и взяла протянутый медсестрой благоухающий лавандой халат.

– Полегчало? – в голосе женщины слышалось участие.

– Немного. – В разбитое зеркало я старалась не смотреть. – А можно спросить?

– О чем? – Медсестра деликатно отвернулась, дожидаясь, пока я влезу в халат.

– Что стало с той девушкой... ну, которая вместе со мной в аварию попала?

– Это ты про тринадцатую, что ли?

– Почему тринадцатую?

– Потому что лежит она в тринадцатой палате. Это у нас такая особенная палата для коматозников, тех, которые постоянно на аппарате.

Постоянно на аппарате... Сердце защемило.

– А почему она тринадцатая?

– Да откуда ж мне знать? Так пронумеровали.

– Можно мне к ней? – решила я.

– Зачем это? – В глазах медсестры зажегся огонек подозрения. – Что ты там забыла?

Забыла. Я там ни много ни мало себя забыла. Лежу, несчастная, в коме, и надежды на выздоровление никакой. Но не скажешь ведь об этом. Пришлось изворачиваться:

– Понимаете, мы же вместе с той девушкой в такси ехали. Пока ехали, разговорились... Ее тоже Евой зовут, представляете?

– Я-то понимаю, – медсестра вздохнула, – чай, не первый год на свете живу, но и ты меня пойми, у нас режим, нельзя пациентам туда-сюда шастать. Если кто из врачей увидит, проблем не оберешься. Вплоть до увольнения... – Она покачала головой.

– А если поздно вечером или ночью? – Я не собиралась сдаваться. – Ну, когда врачи по домам разойдутся?

– Все равно дежурный останется.

– Так я осторожненько, только одним глазком взгляну... – Я запнулась на полуслове...

Совсем я плоха головой стала, если такую важную вещь едва не упустила из виду. Клиника-то не из дешевых. Ладно, мое, точнее, Евы Ставинской, пребывание в ней оплачивают дорогие родственники. А кто обеспечил на целый месяц присмотр за моим бедным телом? У маманки таких денег нет, да если бы и были, не озаботилась бы она такой ерундой, как дочкина жизнь. У меня есть, но меня самой вроде как нет. Получается, что Вадим – мой последний и самый перспективный любовник. Да, любовник. Я самой себе врать не привыкла: если мужик таскается к тебе под покровом ночи два раза в неделю, как по расписанию, и при этом никому тебя не показывает, значит, он не бойфренд, а самый что ни на есть настоящий любовник. А перспективный он потому, что не жадный, выдал мне в своем банке кредит под смешные проценты на развитие бизнеса, машину новую обещал на день рождения подарить. Значит, не ошиблась я в выборе, Вадим не подвел, оплатил мое лечение. Ай, какой сердобольный. Ведь ему, наверное, врачи все предельно ясно объяснили про мое бесперспективное коматозное состояние.

– Ну, одним глазком... – Медсестра расценила мое молчание, как полное отчаяние. Собственно говоря, так оно и было. Есть мне отчего убиваться. – Завтра я дежурю в ночную смену, часиков в одиннадцать могу за тобой зайти. Только ненадолго! – Она предупреждающе взмахнула рукой. – Зайдешь, посмотришь, и обратно в палату. А вообще не понимаю я, зачем тебе все это – раны беречь. Сама жива осталась – ну и слава богу.

– Вдруг я ей помочь чем-нибудь сумею. У вас же дорогая клиника?

– Дорогая. Что есть, то есть.

– Ну вот, а она уже месяц у вас. А если, к примеру, за нее платить не станут, тогда что? – отважилась я спросить.

– Знамо что, – медсестра нахмурилась. – Вот бог, а вот порог. Наша клиника благотворительностью не занимается.

– И как же, совсем беспомощного человека на улицу вышвыривать?

– Ну почему сразу на улицу? Не на улицу, а в государственную больницу. Только я тебе вот что скажу, без такого присмотра, как у нас, эта девочка долго не протянет.

– Почему?

– Потому что у нас аппараты для искусственной вентиляции легких самые лучшие. И уход, сама видишь, какой. Потому что все эксклюзивное и на высшем уровне, а в государственной больнице что?

– Что? – шепотом спросила я.

– Аппаратура изношенная, персонал издерганный, и на каждую медсестру бог знает по сколько приходится больных. А за коматозниками же уход особый нужен. Ох, грехи мои тяжкие! – Медсестра торопливо перекрестилась и посмотрела на меня участливо. – Что-то ты побледнела. Я ж говорила, воду попрохладнее надо было делать, а ты не послушалась. Давай-ка я тебя обратно в палату провожу.

– Так вы меня завтра позовете? – Я вцепилась в рукав ее халата.

– Позову, чего уж там. Ты, главное, никому не проболтайся...

* * *

День тянулся невыносимо долго, а ведь мне еще предстояло как-то пережить следующий, дожидаться вечера, чтобы встретиться с самой собой.

Родственники и друзья детства меня больше не навещали. Пришла только Рая, положила на тумбочку тисненый кожаный футляр, сказала со вздохом:

– Евочка, я тебе запасные очки принесла. Твои-то тогда вдребезги... Наденешь?

Я надела, надоело мне все время щуриться! Мир сразу сделался ярким, отчетливым, и оказалось, что Рая еще старше, чем мне думалось, старше и как-то беспомощнее, что ли.

– Спасибо, Раечка. – Я осторожно погладила ее по руке. Должен же быть в новом мире у меня хоть один надежный человек. А Рая как раз надежная, видно, что она меня любит. То есть не меня, но это сейчас неважно.

– Евочка, а ты так и не вспомнила ничего? – Она смотрела на меня с надеждой.

– Нет, – я мотнула головой, – но очень стараюсь.

– Евочка, – Рая смущенно улыбнулась, – то, что Амалия вчера про Севочку говорила, – это неправда. Он не приживалка никакой, он знаешь какие картины красивые пишет! Он очень хороший художник, мы уже три картины продали, а ты, – она вдруг густо покраснела, – а ты, Евочка, обещала нам помочь с организацией персональной выставки. Не помнишь? – В глазах экономки была такая тоска, что я вдруг сразу поняла, кто такой Севочка.

– Он твой сын, да?

– Сын. – Рая смахнула набежавшую слезу. – Он хороший, только больной очень, еще с детства – инвалид он, вот... Ну разве я могу его одного оставить, когда сама целыми днями в вашем доме, он же как ребенок. А отец твой не возражал, честное слово. Он даже в завещании прописал, что Севочка может в доме находиться, сколько сам захочет. Когда ты здорова была, нам проще жилось, – она всхлипнула. – Амалия тебя не боялась, но и перечить не могла, потому что ты единственная наследница, а она так... не пойми кто. А как ты в больницу попала, нам с Севочкой житья не стало, совсем они нас замучили придирками.

– Кто – они? – уточнила я.

– Так Амалия и брат ее Серафим! А Серафим тот еще жук, нигде не работает, живет за сестрицын счет, то есть не за сестрицын, а за твой, Евочка, счет.

Очень интересно. Получается, у меня – вернее, не у меня, но в сложившихся обстоятельствах это неважно – на шее сидит целая толпа иждивенцев. С Раей и Севочкой все более или менее понятно, она экономка, почти член семьи, а он ее единственная кровиночка. А вот на кой хрен мне сдались Амалия с этим Серафимом? Кстати, неплохо бы уточнить, о каком именно наследстве идет речь.

– Рая, – я уселась в кровати по-турецки, – а скажи-ка мне, я что, богатенькая Буратинка?

Экономка немного помолчала, собираясь с мыслями, а когда заговорила, я потеряла дар речи. Оказывается, я не просто богатенькая Буратинка, я очень богатенькая. Даже удивительно, что фамилия Ставинская сразу ни о чем мне не напомнила. Фамилия ведь весьма известная. Папенька-то мой преставившийся был самым настоящим олигархом. Рая принялась перечислять все мое движимое и недвижимое имущество, но на пятой минуте этого монолога я ее остановила. Ладно, с финансовыми вопросами я сама как-нибудь разберусь, так сказать, в процессе. Мне бы пока переварить то, что узнала. Это ж получается, что я теперь вместо той, другой Евы, наследница миллионного состояния, это ж я теперь в почетной десятке самых завидных невест страны. А что я в таком случае забыла в детском доме? Отчего вместо того, чтобы ворочать папенькиными мульенами, утирала сопливые носы беспризорникам? А одевалась как?! Это ж ужас, как я одевалась! В общем, прежняя я была еще большей дурой, чем мне показалось с первого взгляда.

Да, повезло так повезло! С одной стороны, тело мне досталось не ахти какое, а с другой – за те деньги, что у меня теперь есть, я себе любое тело организую. Только сначала к хорошему психиатру наведаюсь, голову подлечу, чтобы больше никаких глюков. Психиатра, кстати, можно из-за границы выписать, могу себе позволить. Благо денежки есть и английским владею, сказались два года работы в Штатах. Тогда на должности домработницы при гарвардском профессоре-русофиле я освоила все премудрости ведения домашнего хозяйства, заработала денег столько, что по возвращении домой смогла начать свое маленькое дело, да еще и язык освоила в совершенстве. Мне теперь не стыдно будет на всяких там посольских приемах появляться и блистать в высшем свете, я же не какая-то там девчонка с выселок, я сама Ева Ставинская.

– Евочка, так ты поможешь нам с выставкой? – вернул меня на грешную землю голос Раи.

– А дорогая выставка? – подняла во мне голову девчонка с выселок, та самая, которая до восемнадцати лет порванные колготы штопала, а не выбрасывала, которая знала, что по чем и где дешевле.

– Дорогая, – Рая сразу сникла. – Я уточняла, даже если очень скромно, то вместе с арендой галереи выйдет пятнадцать тысяч долларов. Но ты говорила, что у тебя есть, что ты насобираала...

Странно как-то, что значит насобираала? Я ж дочка миллионера, что для меня сейчас пятнадцать тысяч долларов! Это раньше я на такую сумму год могла безбедно существовать. Но то было раньше, до того, как я стала наследницей знатного рода и богатенькой Буратинкой. А сейчас, чего уж там, могу себе позволить широкий жест.

Наверное, я слишком долго раздумывала, потому что Рая прижала сухонькие кулачки к груди и зачастила:

– Евочка, ты не думай, мне искусствовед один знакомый сказал, что за Севочкины картины можно приличные деньги выручить. Мы их все, до последней копеечки, тебе отдадим. Я ж не за себя прошу, мне в этой жизни уже ничего не нужно, за сына душа болит, у него ведь единственный свет в окошке – его работа.

– Рая... – От нахлынувших вдруг сантиментов мне сделалось нехорошо. Как-то неправильно на меня действует это чужое тело, какая-то я становлюсь непрактичная. Прежняя я ни за что не отдала бы пятнадцать кусков зелени какой-то незнакомой тетке, а нынешняя я вот, похоже, собираюсь отдать. – Рая, – повторила я уже тверже, – давай я выпишусь из больницы, и мы на месте все обсудим.

– То есть ты подумаешь? – Лицо экономки озарилось такой счастливой улыбкой, что я устыдилась своей меркантильности.

– Я уже подумала. Деньги на выставку я дам, только позволь мне сейчас немного отдохнуть. Устала я что-то.

Про усталость – это я не кривила душой. То ли из-за травмы, то ли из-за того, что тело не мое, да еще такое нетренированное, чувствовала я себя на порядок хуже, чем в прежней

своей жизни. А может, слабость – это плата за богатство? Эх, надо очень сильно подумать, готова ли я платить такую цену. А впрочем, о чем я? Моего согласия никто не спрашивал, швырнули точно новорожденного котенка в прорубь – выплывай как знаешь. Я-то выплыву, я не я буду, если не сделаю этого, но отдых мне бы не помешал.

– Ты отдыхай, Евочка, конечно, отдыхай! – Рая попятилась к двери. – А я тебя завтра навещу, чего-нибудь вкусненького принесу. Чего ты хочешь вкусненького, а?

Я задумалась. Раньше, в босоногом детстве, за брикет ванильного мороженого я бы родину продала, не задумываясь, но босоногое детство закончилось, и возникла острая необходимость блюсти фигуру, так что о мороженом пришлось забыть. Но сейчас-то, сейчас у меня такое костлявое тело, что его впрямь специально откармливать, так что решено!

– Принеси мне ванильного мороженого, – попросила я.

– Мороженого? – Рая выглядела удивленной. – Евочка, ты же не любила мороженое.

– Не любила, так полюбила, – отмахнулась я. В конце концов, после комы вкусовые пристрастия могли и измениться. – Так принесешь?

– Принесу, Евочка, обязательно.

– А еще из одежды что-нибудь и косметику какую-никакую.

– Косметику? Евочка, а у тебя нет никакой косметики.

– Как нет?! – поразила я. – Совсем, что ли, ничего?

– Ну, во всяком случае, я тебя накрашенной никогда не видела, – Рая покачала головой, – но, если хочешь, я могу поискать в твоей комнате.

– Поищи, – разрешила я, хотя в душе уже смирилась с мыслью, что до выписки придется мне ходить росомахой. Все-таки странная она была, эта Маша-растеряша. С такими-то деньжищами образ жизни вела почти спартанский.

Экономка уже собиралась уходить, когда я вдруг вспомнила:

– Рая, и почитать что-нибудь принеси, из того, что я читала перед аварией.

– Принесу, Евочка! – Кажется, хоть эта моя просьба не поставила ее в тупик. – Ты же у меня знаешь какая умница, ты же Арчибальда Кронина читала на английском.

Я украдкой вздохнула, моих литературных познаний хватило лишь на то, чтобы знать, кто такой Арчибальд Кронин, но читать его в оригинале как-то не доводилось. Мне бы что попроще, детективчик какой или фэнтези на худой конец, а тут поди ж ты! Еще хорошо, что я по-аглички разговаривать умею, а то бы опростоволосилась перед дорогими родственничками.

* * *

Обед не помню. Помню только, что сидела за столом между Натальей Дмитриевной и Семеном. Наталья Дмитриевна пыталась развлечь меня разговорами, а Семен смотрел только на Лизи. И князь смотрел на Лизи. И мадам. И даже я...

А потом были танцы. Кажется, я тоже танцевала. Один раз с Семеном и два – с Ефимом Никифоровичем. А потом я сбежала...

Антип дремлет на козлах, в рано сгустившихся сумерках его сгорбленный силуэт кажется вырезанным из картона.

– Антип!

– А?! Что?! Софья Николаевна? – Он выпрямляется, суетливым движением оглаживает бороду.

– Отвези меня домой. Что-то голова разболелась.

– А Николай Евгеньевич разрешил? – В темных Антиповых глазах подозрение.

– Разрешил. – Я не вру. Специально испросила у папеньки дозволения уехать домой, сослалась на мигрень. Папенька всяких дамских болезней боится как огня, потому отпустил без лишних разговоров. – Велел тебе меня отвезти, а потом обратно вернуться.

– Ну, коли разрешил! – Антип потягивается, ласково наглаживает рукоять хлыста. – Мы, Софья Николаевна, сейчас мигом, с ветерком!

Люблю вот такие ночные поездки, когда не видно почти ничего и ветер в лицо, и Антипов разухабистый посвист кромсает темноту точно хлыстом. Можно закрыть глаза, вспоминать.

Он голову чуть набок наклоняет, и тогда волосы падают ему на лоб, а он их назад откидывает. Иногда рукой, а чаще резким поворотом головы. Улыбка у него кривоватая, и оттого кажется, что о собеседнике своем он все-все знает и посмеивается над ним. А глаза удивительной изменчивости. Это только поначалу показалось, что у них цвет штормовой волны. Когда он задумается, то синь появляется вовсе не штормовая, а спокойная, с изумрудным оттенком. Или это у него в глазах Лизины серьги отражаются?

Не буду думать о Лизи. Потому как если стану думать, то непременно расплачусь. А при Антипе плакать никак нельзя. Я ж не девка дворовая, я графиня...

Стэффа не спит, ждет меня в моей комнате. На столе в канделябре наполовину оплывшие свечи, рядом книга, погашенная трубка и пенсне. Стэффа читает французский роман. Читала, пока я не вернулась, а теперь смотрит внимательно, сторожко.

– Что так рано, Сонюшка?

– Нагулялась! – Падаю на кровать, сбрасываю ненавистные башмаки, срываю гувернантское платье. – Стэффа, у них там не просто обед, у них бал! Бал и гости, и дамы все в шелках и драгоценностях. А я вот такая! – Слезы душат, и в горле колючий ком. Не буду терпеть, перед Стэффой можно и поплакать.

Плачу, размазываю слезы по лицу, выдираю из волос ненавистные шпильки. Стэффа молчит, гладит меня по спине, дает выплакаться.

– А я самовар поставила, – говорит она начинает, только когда слез у меня больше не остается. – Давай-ка чайку выпьем липового, как ты любишь. – И, не дожидаясь ответа, выходит, но очень скоро возвращается с подносом. На подносе две чашки, пирожки с вареньем и сахарница.

Чай горячий, пахнет медом и еще чем-то незнакомым, но вкусным. Может, травку какую Стэффа в него добавила? Она любит травки всякие. И я тоже люблю. И пирожки люблю, особенно с маслицем, но маслица нет, и приходится есть их с сахаром.

– Стэффа, он такой красивый! – Чай делает меня добрее и спокойнее. – У него глаза, как море, и волосы волной. А взгляд такой... У тебя когда-нибудь сердце под чужим взглядом останавливалось?

– Останавливалось. – Стэффа смотрит на меня поверх чашки, кивает. – Только очень давно. Я уж и не помню, как это...

– А я не знала, что такое бывает. – Чай золотистого цвета, и на самом дне вместе с чайниками хороводом коричневые лепестки. Может, зверобой? – Это любовь, да?

– Не знаю, Сонюшка. Ты пей чаек-то, а то остынет, невкусный станет. – Стэффа достает из складок платья бархатный кисет, набивает трубку своим непонятным табаком, закуривает. По комнате плывет сладко-дурманный аромат, путается в волосах, успокаивает.

– А зовут его, знаешь, как красиво? Андрей Сергеевич, князь Поддубский. – Улыбаюсь мечтательно, а в черных глазах Стэффы тревога. – Он к Сене погостить приехал. Сказал, что у нас тут красиво и нимфы... Может, останется подольше? – Делаю торопливый глоток из чашки, поперхиваюсь, кашляю, долго, до слез. – А нимфа – это Лизи. Он с Лизи весь вечер глаз не сводил. И Сеня тоже. Они все на нее смотрели, потому что она красивая и платье у нее фиалковое, а у меня гувернантское. Я ж не знала, что бал... А мадам не сказала. Она специально не сказала, да? Сама вырядилась, на Лизи изумрудный гарнитур нацепила, потому что знала, что там не только Сеня будет, но еще и он. – Говорить с каждым мгновением

все тяжелее, в сизом дымке от Стэффиной трубки комната плывет, и я плыву вместе с нею. Нет, это не зверобой, это дурман какой-то. Стэффа тоже специально. Мадам, чтобы меня расстроить, а Стэффа – чтобы утешить. Только меня она не спросила, нужно ли мне...

* * *

Медсестра, звали ее, кстати, Анна Николаевна, заглянула в мою палату ближе к полуночи.

– Не спишь? – спросила она громким шепотом.

– Нет. – Я специально от успокоительного отказалась, чтобы не заснуть.

– Ну, тогда пошли. Только быстро, пока дежурный врач в приемном покое.

Просить дважды меня не пришлось, вслед за Анной Николаевной я выскользнула за дверь.

Палата номер тринадцать находилась в дальнем конце коридора, в изолированном от посторонних глаз закутке. Здесь же, в закутке, стоял стол постовой медсестры, за ним никого не было.

– Нинка, зараза, спать завалилась, – пояснила Анна Николаевна, – ничего не боится, оторва, потому как у начмеда в любовницах ходит. Вот накатай бы на нее жалобу...

Мне было неинтересно, кто у кого ходит в любовницах, я приклеилась к матовому стеклу, отделяющему палату номер тринадцать от внешнего мира, я смотрела на саму себя.

– Ну, что же ты встала? – Медсестра легонько подтолкнула меня в спину. – Заходи, пока нас никто не видит.

– А можно я одна? – Встречаться с самой собой при посторонних не хотелось.

Мгновение Анна Николаевна поколебалась, а потом разрешила:

– Иди уж, только недолго.

... Я лежала на узкой кровати: глаза закрыты, волосы сбриты, руки по-покойницки скрещены поверх простыни, левая нога прошита стальными спицами и подвешена к похожей на лебедку хреновине. Я не была похожа на себя прежнюю ну нисколечко... У меня никогда не появлялось такого... отсутствующего выражения лица. Не мертвого, а именно отсутствующего. И морщинок в уголках губ раньше не было, а волосы, наоборот, были: пышные, роскошные – краса и гордость. Сейчас – лысая голова. Тягостное зрелище. А еще эта трубка во рту... И лебедка, и стрекотание железной бандуры, точно такой же, как в той палате, где я очнулась в чужом теле... Теперь я знала, что бандура – это и есть чудо-аппарат, который не позволяет таким, как я, уйти.

Осторожно, бочком, я подошла к кровати, склонилась над лежащим на ней телом. Бедная я бедная... На белоснежную простыню что-то капнуло – слезы, не заметила, когда разревелась.

– Ничего, Ева, прорвемся. – Я погладила себя по щеке, подушечки пальцев закололо. – Я тебя в обиду не дам и в беде не брошу. – Руку я убрала, но лишь затем, чтобы коснуться своей собственной ледяной ладони. – Ты, Ева, главное, держись там, а я тут что-нибудь придумаю. Мы и не из таких передряг выбирались. Мы с тобой в такой аварии выжили...

И тут я вспомнила про безделицу. Сохранилась ли она? Посмотреть, что ли?

Безделица сохранилась, но изменилась почти до неузнаваемости. Красный камешек превратился в паучка: прозрачное тельце, золотые лапки. Откуда лапки? Может, механизм какой? Когда защелка закрывается, лапки появляются? Тогда понятно, что меня в такси все время царапало. И цепочка другая. Прежняя была обычной, без причуд, а эта куда уж затейливее: вместо одного несколько золотых витков, да витки какие-то странные, тонюсенькие, неодинаковые, похожие на недоплетенную паутинку. Вот черт! Теперь у меня на шее вместо милой безделицы паутина с пауком. С одной стороны, красиво, глаз не оторвать, а с другой – жутко...

Рука сама потянулась к красному переливчатому паучьему тельцу. От моего прикосновения камешек полыхнул белым и, кажется, нагрелся. Надо убираться отсюда, пока не поздно...

Оказалось, поздно...

Что-то холодное сжало мое запястье, и оно вдруг полыхнуло огнем. Глаза незнакомки, которая всего месяц назад была мною, распахнулись...

Они оказались чужими – эти глаза, совершенно чужими, они смотрели на меня внимательно и требовательно, продираясь в самую душу. И запястье в том месте, которого коснулась моя – не моя рука, занемело.

– Помоги мне... – прошептали мои – не мои губы. – Помоги себе...

На сей раз я не заорала, а кулем осела на пол, зажмурилась, зажала уши руками. Ничего не вижу, ничего не слышу – как в детстве. Если ты не видишь страшное, то и страшное не увидит тебя. Я надеялась, что не увидит, но понимала – поздно. Страшное меня уже увидело, и рассмотрело, и даже оставило частичку себя на самом дне моей грешной души.

– ... Ева, эй, тебе плохо, что ли! – Анна Николаевна снова, как тогда в душе, трясла меня за плечи. – Ну, что ты молчишь? Врача позвать?

– Не надо. – Я отмахнулась от ее рук. – Просто голова закружилась. Уже проходит.

– Голова у нее закружилась. – В голосе медсестры послышалось облегчение. – Потому и закружилась, что нечего по ночам где попало шастать, по ночам спать нужно. Эх я дура старая, должна ж была догадаться, как ты все это воспримешь. Пошли уж, горемычная.

Я дала увести себя из палаты номер тринадцать. Смелости посмотреть на ту, которая там осталась, у меня так и не хватило. Мне сейчас дай бог смелости с ума не сойти.

Только оказавшись в собственной палате, я смогла немного успокоиться и собраться с мыслями. Списывать произошедшее на действие лекарств или галлюцинации не приходится, потому что успокоительное я сегодня не принимала, а от галлюцинаций на коже не остаются такие вот следы...

Там, где моего запястья коснулись пальцы – я уж и не знаю чьи, – был заметен отчетливый ожог в виде паутины. Вот такая реальная галлюцинация. И с этим мне теперь придется если не разбираться, то как-то жить...

– Давай я все-таки к тебе доктора позову, – предложила Анна Николаевна, внимательно вглядываясь в мое лицо, – ты ж бледная как смерть. Он тебе что-нибудь уколёт...

– Нет! – Не хочу я, чтобы мне что-нибудь кололи. Я спать вообще не собираюсь. Вдруг она снова появится... Нет, спать мне никак нельзя...

– Знаешь, я уже жалею, что пошла у тебя на поводу. – Анна Николаевна осуждающе посмотрела на меня. – Уж больно ты нервная. Нельзя тебе со всякими...

Правильно, нельзя! Мне с привидениями и собственными дублями никак нельзя встречаться, потому что, чует моя душенька, еще пара таких вот встреч – и меня никакой психиатр не вылечит.

– Вы меня простите, – я виновато улыбнулась, – что-то у меня и в самом деле нервы расшатанные стали. Я ж думала, что просто посмотрю, и все, а просто не получилось. – Я перешла на шепот: – Анна Николаевна, а человек в коме может глаза открывать и разговаривать?

– Ну, глаза открывать может, а разговаривать... – Медсестра покачала головой и спросила подозрительно: – А тебе зачем это?

Я пожала плечами:

– Да так, любопытно стало. Я ж не помню совсем, что во время комы со мной было...

– Ох, горе. – Медсестра погладила меня по голове. – Не помнишь, ну и слава богу! Зачем тебе такое помнить-то?! Ты лучше спать ложись, поздно уже.

– А почему она лысая? – задала я единственный вопрос, на который могла получить ответ.

– Ей операцию делали, вот волосы и пришлось сбрить.

– Какую операцию?

– Ну разве ж я знаю?! Какую-то жизненно необходимую.

– Ну и как, помогла операция?

– Это с какой стороны посмотреть: умереть не умерла, но и в сознание не пришла. Валентин Иосифович считает, что и не придет. А он еще никогда не ошибался, он у нас спец в этих вопросах. Диссертацию по комам защитил, за границей стажировался.

– Но ведь вы сами же сказали, что она не умерла...

– Не она не умерла, а тело, – медсестра вздохнула. – Это как домик без жильца. Понимаешь?

Про домик без жильца – это я очень хорошо понимала, я сама такой домик заняла. А вот кто занял мой домик? Если следовать логике – хотя какая уж в этом деле может быть логика! – получалось, что мы с Машей-растеряшей поменялись телами. Как такое случилось, непонятно, зато доподлинно известно когда. Тогда, когда водила этот чертов попал в аварию и наши с Машей-растеряшей грешные души вышибло в астрал, а там, в астрале, кто-то что-то перепутал. Вот и получилось то, что получилось. Я, наверное, сильнее оказалась, царапалась до последнего, дверцу искала. А та, вторая, сдалась, или силенок у нее не хватило. Теперь я в ее теле, а она не пойми где.

Может, в моем заперта, и выбраться ей никак не удастся. Я вспомнила взгляд моих – не моих глаз, и по коже побежали мурашки. Да, кажется, влипла я...

* * *

Не помню, как я уснула, боролась-боролась со сном, а потом раз – и отключилась. А когда глаза открыла, в палате уже было светло. С одной стороны, плохо, что я сама себя подвела, не смогла продержаться без сна до утра, а с другой – вот же я, целая и невредимая, за ночь со мной ничего фатального не случилось, и даже обожженное запястье больше не болело. Я подпернула рукав сорочки, посмотрела на руку. Ожог теперь не полыхал красным, побурел и потускнел, но виден был отчетливо. Придется прятать, хорошо, хоть сорочка с длинными рукавами, посторонним это клеймо не рассмотреть.

Умывалась я торопливо. Разбитое зеркало из санузла убрали, а новое еще не повесили, и раньше этот факт меня как-то успокаивал, но сегодня я решила поостеречься. Нечего без особой надобности здесь задерживаться.

До обеда день был унылым и предсказуемым: анализы, осмотры, массаж, лечебная физкультура, процедуры. Все это помогало отвлечься, не думать о той, что заняла мое тело. А после обеда пришла Рая.

– Вот тут все, что может тебе понадобится, Евочка. – Она аккуратно положила поверх одеяла полиэтиленовый сверток. – А это, – усталое Раино лицо озарила улыбка, – блеск для губ. Я его в твоей комнате вчера нашла, закатился под туалетный столик.

Вопреки моим опасениям, блеск оказался представителем благородной французской линии и даже подходил мне по тону. Слава богу, значит, его прежняя хозяйка была не так уж безнаджна.

Подкрашивая губы, я вдруг осознала, что четко отделяю прошлую Машу-растеряшу от нынешней. Прошлая, наивная, рассеянная, – именно растеряша, думать о ней ничуть не страшно. А вот нынешняя – если это, конечно, она – совсем другая: непредсказуемая, опасная. И требовательная. Знать бы еще, чего она хочет.

Были у меня кое-какие догадки на этот счет, но они мне очень не нравились. По всему выходило, что нужно ей не что иное, как собственное тело. Я тезку понимала и даже сочувствовала ей, но и меня можно понять. Оставаться бестелесной мне не хотелось, а способа вернуть все на круги своя я, увы, не знала. Это такой естественный астральный отбор, я оказалась посильнее и пошустрее. Занять хорошее место в такси повезло ей, а относительно здоровое тело – мне. Вот так-то...

– И книгу я тебе принесла. – Рая выложила на тумбочку книгу в красной, тисненной золотом обложке. Так и есть, Арчибальд Кронин «Цитадель», в оригинале...

– Спасибо, Рая, – я погладила книгу по корешку, – тут же тоска смертная, хоть волком вой.

Про тоску смертную – это я соврала, какая уж тоска, сплошное веселье: призраки, говорящие коматозники...

– А ты не знаешь, Евочка, скоро тебя выпишут? – Экономка присела на краешек стула и сложила руки на коленях.

– Если на днях не выпишут, я сама отсюда выпишусь. Надоело. А ты чего спрашиваешь? Родственнички по мне соскучились?

Рая, улыбнувшись, покачала головой:

– Нет, Амалия о тебе даже не вспоминает. Это Яков Романович интересовался.

Так, еще и Яков Романович какой-то. Очень интересно...

– Яков Романович – друг и деловой партнер твоего покойного отца. Он твой... – Рая замолчала, подбирая правильное слово. – Он твой опекун.

Опекун?! Интересное кино! Я ж, кажись, не малолетка какая, чтобы меня опекать, и с головой у меня вроде бы все в порядке. Или не в порядке? Я озадаченно уставилась на экономку.

– Евочка, я не знаю, как тебе это рассказать, я не уполномочена. – Она как-то сразу скукожилась и словно постарела лет на десять. – Вот вернешься домой, Яков Романович сам все тебе объяснит.

– Что он мне объяснит? – Ох, как-то переставала мне нравиться роль богатенькой Бурастинки. – Рая, ты мне скажи, у меня что, есть проблемы?

– Евочка, ты скоро все узнаешь, потерпи, – проговорила Рая с непонятной тоской в голосе.

Я могла бы, конечно, попытаться вытрясти из нее интересующую меня информацию, но вдруг отчетливо поняла: говорить об этом с Раей бесполезно. Больше того, что уже сказала, она не скажет. Не знаю, как я это поняла, наверное, благодаря интуиции. А интуиция меня еще ни разу не подводила.

Мы поговорили еще немного о вещах нейтральных и неинтересных, после чего Рая убежала по каким-то своим неотложным делам.

В небольшом «окошке» между обследованиями и процедурами я очень серьезно задумалась о предстоящем мне испытании. Похоже, не все спокойно в датском королевстве, и ждут меня там разные неприятности. И ведь, что самое обидное, подготовиться к ним я никак не могу. Вполне возможно, что, пока я тут разлеживаюсь, против меня плетутся интриги. Ну, не против меня конкретно, а против той, чье место я заняла. И ведь не объяснишь, что я здесь вовсе ни при чем, не скажешь: «Вы тут, ребята, оставайтесь, а я пойду...» Не скажешь, потому как не отпустят. Видно же, что Маша-растеряша девушкой была безропотной и покладистой, если позволяла какой-то Амалии над собой издеваться. Допустим, издеваться над собой я никому не дам, ни Амалии, ни братцу ее Серафиму, ни кому другому. Однако этот загадочный опекун – Яков Романович – меня тревожил сильно. Если опекун, то должен печься, а он мне даже цветов по случаю чудесного выздоровления не прислал. Да бог с ними, с цветами, мог бы просто прийти проведать опекаемую. Все, решено, надо из больницы сваливать, а то от этой неопределенности я точно с ума сойду. Обложили со всех сторон: с одной стороны – привидение, с другой – опекуны и родственники...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.